Леонид Фризман

Остроумный Основьяненко

FOLIO

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, где хранится архив Квитки, подготовленную им к печати, но не изданную при жизни третью книжку малороссийских повестей. Сейчас каждый может познакомиться с этими произведениями в сборнике издательства «Фолио» «Малороссийская проза» и прочесть о них в блестяще написанной книге Леонида Фризмана.

- Леонид Фризман
  - ○
  - ○ Остроумный Основьяненко
    - ■ Квитка и Харьков
    - ■ Глава первая
    - ■ Глава вторая
      - ■ 1
      - ■ 2
      - ■ 3
    - ■ Глава третья
    - ■ Глава четвертая
    - ■ Глава пятая
  - ○ Несколько слов об авторе
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52

- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96

- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140

- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184

- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213

Леонид Фризман
Остроумный Основьяненко

© Л. Г. Фризман, 2017
© Л. П. Вировец, художествен-ное оформление, 2017

Остроумный Основьяненко

Квитка и Харьков
Вместо введения

«Остроумным Основьяненко» назвал Квитку Белинский. Обычно остроумным считают человека, который острит, образными словами и выражениями стремится вызвать смех окружающих. Но литературный спутник и в немалой мере единомышленник Квитки В. И. Даль в своем прославленном словаре определял «остроумие» как «остроту ума». Если Квитка-комедиограф, автор таких произведений, как «Сватанье на Гончаровке» и «Шельменко-денщик», преимущественно веселил и поднимал настроение, то проза писателя остроумна именно в далевском смысле этого слова. А «острота ума» у Квитки – это острота видения народной жизни, живой, неподдельный народный юмор – качества, которые зримо роднят Квитку с Гоголем.

Наша книга – о прозе Г. Ф. Квитки-Основьяненко, что обусловлено двумя причинами. Во-первых, тем, кто Квитка давно и заслуженно признан основоположником украинской прозы. Во-вторых, тем, что именно прозаическое творчество сделало его значительным участником не только украинского, но и русского литературного процесса. По-русски он написал оба своих романа, все статьи по истории Украины и Харькова, а «малороссийские повести» сам переводил на русский язык.

Ни один русский или украинский писатель так не связан своей судьбой и творчеством с Харьковом, как Квитка. В Харькове он родился, здесь написал все, что написал, здесь покоится его прах. Он любил Харьков сыновней любовью и не просто описывал, а воспевал его, восхищался и гордился им. Однако в наше время он странным образом выпал из внимания исследователей: последняя монография о нем, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет тому назад, притом Квитке посвящена лишь первая ее половина, вторая – Е. Гребинке, а то, что писалось о нем в 1960—1970-е гг., безнадежно устарело.

В долгу у Квитки не только наука, но и его родной город. Полностью разделяю чувства, выраженные в статье моего коллеги, профессора М. Ф. Гетманца, статью которого, недавно опубликованную в газете «Время», воспринял как крик души: «Хотя патриотическая деятельность и художественное творчество Квитки-Основьяненка всегда вызывали всенародный интерес, Харьков не только не создал ему достойного памятника, но и не проявил заботы о сохранности его усадьбы, в которой до Второй

мировой войны был мемориальный музей. Сейчас в центре города есть небольшая улица его имени и на ней скромный памятник в жанре „погруддя“, установленный в 1977 году к 200-летию со дня рождения писателя. Наш славный земляк заслуживает того, чтобы стоять во весь рост в самом центре города в компании со своими героями, в которых так ярко и выразительно отражены черты украинского национального характера».

Статья, из которой взята эта цитата, называется «Памятник кому должен стоять на главной площади Харькова?», и пафос ее в том, что это должен быть памятник Квитке. Полностью разделяя высказанные чувства и приводимые доводы, опасаюсь, что предлагаемое решение не у всех вызовет поддержку. Многие скажут – и не без основания – что Квитка не занимает сегодня в духовном мире харьковчан такого места, которое бы его оправдывало, места, сопоставимого с тем, которое занимает Штраус в сердцах жителей Вены или Гете у жителей Веймара. Но кто виноват в этом? Квитка? Нет, здесь наша вина, нам и надлежит позаботиться о том, чтобы ее искупить. Посильный вклад в это стремился внести и автор лежащей перед вами книги.

Квитка в ней впервые предстает не только как выдающийся беллетрист, но и как вдумчивый историк и страстный певец Харькова и Слобожанщины. Изображаемый им мир – это Харьковщина с ее народными типами, обычаями и даже топонимикой. Мы стремимся отдать должное малоизвестным, редко издававшимся и в сущности полузабытым статьям писателя. Ведь без них представление о Квитке было бы не только неполным, но и ущербным.

Намерением ввести сегодняшнего читателя в мир Квитки обусловлена и представительная подборка иллюстраций, на которых он увидит и Харьков времен Квитки, и снимки зданий, связанных с его биографией, и картины украинских художников, тематически связанные с сюжетами произведений Квитки.

Работая над этой книгой, я не только познавал Квитку как писателя и историка, но и проникался каким-то трудно выразимым ощущением духовного родства с ним. За несколько десятилетий, прожитых Квиткой в Харькове, город неузнаваемо изменился. Квитка жадно следил за этими изменениями и реагировал на них не просто заинтересованно, но страстно. И я невольно сопоставляю то, как менялся Харьков при жизни Квитки, с тем, что происходило на собственном моем веку.

Как и Квитка, я в Харькове родился и прожил всю жизнь. Всегда любил поездки, исколесил немало городов и стран, но никогда и никуда не помышлял переселиться. Самые задушевные ощущения, на какие я способен, я испытывал, когда возвращался

домой.

Я хорошо помню довоенный Харьков, в котором единственным городским видом транспорта был трамвай, машин встречалось немного, а телеги, запряженные лошадьми, разъезжали даже по центру города, граница которого проходила вблизи Госпрома. Нынешняя улица Культуры называлась Барачная, потому что была застроена бараками.

Между ХЭМЗом и Тракторным заводом еще в 50-е годы пролегала степь, и трамвай, который полз по этой степи, выглядел, как кораблик, пересекающий океан. Как с такого кораблика не видно берегов, так из окон этого трамвая не видно было конца степи. Я не умею описать перемены, произошедшие в нашем городе, так искусно и вдохновенно, как описал Квитка перемены, произошедшие на его глазах, но пережитое мной самим помогает мне лучше понять его чувства, тот неподдельный восторг, который вызывал в его душе любимый город.

Я не верю в то, что патриотизм воспитывают, его впитывают с молоком матери, его укрепляют происходящие события и деяния людей. Квитка восхищался Харьковом, вовсе не собираясь на кого-то воздействовать, кого-то чему-то учить. Он пробуждает в нас то, что живет в наших душах, он помогает нам полнее познать самих себя, этим он нам и дорог. Квитка был человеком своего времени, а мы взращены другой эпохой, и не может он быть близок нам всеми своими ощущениями и воззрениями. Но есть что-то, которое всегда будет нас сближать. Это что-то – Харьков.

Глава первая
Начало пути

Григорий Федорович Квитка родился 18 (29) ноября 1778 г. в семье богатого украинского помещика, потомка легендарного основателя Харькова Андрея Квитки. Он был отпрыском старинного казацко-старшинского рода. Известно, что летом 1709 г. один из его предков, Г. С. Квитка, принимал в своем доме Петра I, а когда в 1772 г. украинская шляхта была указом Екатерины II приравнена к русскому дворянству, Квитки получили дворянский титул.

Отец будущего писателя был владельцем села Основа, которому обязан своим происхождением наиболее известный из его псевдонимов. Этим псевдонимом он, можно сказать, прославил свою «малую родину». Когда в 1861 г. в С.-Петербурге стал издаваться журнал на малорусском языке, ему было дано название «Основа» в честь родины Квитки, закрепленной в его прославленном псевдониме. Считается, впрочем, что в названии журнала был отчасти и символический смысл. В наши дни в Харькове существует издательство «Основа», и вряд ли можно счесть случайным тот факт, что его главный редактор, профессор Харьковского национального педагогического университета К. Ю. Голобородько является также деканом факультета, носящего имя Г. Ф. Квитки-Основьяненко.

Федор Квитка был человеком просвещенным, принимал у себя прославленного «странника» Г. С. Сковороду, чьи произведения члены его семьи знали на память и любили декламировать. Он содействовал открытию в 1805 г. Харьковского университета, которому оказывал материальную поддержку.

Памятным событием раннего детства будущего писателя стало «чудесное исцеление» от слепоты, произошедшее в шестилетнем возрасте во время молитвы в Озерной пустыни. Благодарная мать взяла с ребенка обет, что он год пробудет послушником в монастыре. Но послушнические обязанности юноша исполнял без всякого рвения, охотнее проводя время на балах и танцевальных вечерах. На протяжении всей последующей жизни религиозность Квитки была весьма умеренной. Бога он в своих произведениях поминал на каждом шагу, но исполнение заветов Всевышнего на деле означало для него соответствие требованиям порядочности и народной морали.

Систематического образования юный Григорий не получил. Как отметил хорошо с ним знакомый О. Корсун, «он сам себя

образовал»[1]. «Недостаток классического образования и знания иностранных языков, – свидетельствовал в своих воспоминаниях Н. Костомаров, – он заменял здравым умом и любовью к чтению. Он постоянно с юношеским пылом следил за движением русской литературы, особенно непереводной»[2]. Это подтверждается обширным репертуаром имен, упоминаемых в произведениях и письмах Квитки, среди которых мы видим имена как русских писателей (Ломоносов, Сумароков, Новиков, Княжнин, Фонвизин, Капнист, Карамзин, Жуковский, Крылов, Пушкин, Гоголь), так и западноевропейских (Данте, Сервантес, Мольер, Мильтон, Вольтер, Руссо, Мюссе, Коцебу, Дюма, Гюго, Бальзак, Ламартин, Сю).

Сам Квитка позднее, в 1839 г., так писал об этом П. А. Плетневу, с которым у него сложились теплые и доверительные отношения: «Я и родился в то время, когда образование не шло далеко, да и место не доставляло к тому удобств; притом же болезни с детства, желание не быть в свете, а быть может, и беспечность и леность, свойственные тогдашнему возрасту, – все это было причиною, что я не радел о будущем и уклонялся даже от того, что было под рукою и чему мог бы научиться»[3]. Можно согласиться, что некоторые самооценки: «С таковыми познаниями писатели „не бывают“», «Вы теперь видите, что я непроизвольно, нечаянно, неумышленно попал в писаки» и т. п. – вызваны чрезмерной скромностью, но искренность сделанных в этом письме признаний не подлежит сомнению.

По обычаям того времени одиннадцати лет он был записан вахмистром в лейб-гвардии конный полк, произведен в капитаны и числился при армии до 1797 г., чтобы затем расстаться с ней навсегда. Военная карьера манила его так же мало, как церковная, и прав был один из его биографов, отметивший как характерную особенность его нрава то, что «писатель всегда вынужден был пребывать в „чужом монастыре“ со „своим уставом“: в кругу провинциальных чиновников сатирические произведения Квитки навлекали на него неудовольствие и начальства, и сослуживцев»[4].

Общественная деятельность занимала заметное место в жизни молодого Квитки. Когда Россия готовилась к войне с Наполеоном, его выбрали провиантским комиссаром народного ополчения, и он проявил такие организаторские данные, что вскоре стал секретарем уездного дворянства, а позднее на протяжении двенадцати лет пребывал в должности уездного предводителя дворянства, на которой снискал репутацию честного и бескорыстного деятеля: защищал селянскую «громаду», пресекал издевательства помещиков над прислугой,

помогал малограмотным мужикам разбираться в законах, защищал их в ходе судебных процессов, следил за проведением рекрутских наборов. Опыт тех лет немало пригодился ему в писательской деятельности.

Позднее ему довелось быть и председателем Харьковской палаты уголовного суда, и членом товарищества наук при Харьковским университете, и членом-корреспондентом статистического отдела министерства внутренних дел. Одной из главных своих обязанностей он считал добиваться человечного отношения помещиков к своим крепостным. Архивы губернских депутатских собраний зафиксировали многочисленные случаи, когда Квитка, откликаясь на жалобы крестьян, выезжал на места происшествий и принимал меры для обуздания помещичьего своеволия. И постоянно его честность и верность высоким моральным устоям навлекали на него бесконечные и злобные нападки, как он выражался, «толстопузых журналов» и «кривые толки окружающих».

В нем всегда жил неуёмный просветитель: он содействовал становлению «основянского театра», в котором с сезона 1808/1809 был «сочленом» дирекции и актером, а с 1812-го по 1816 год – директором; инициатором создания «Благотворительного общества», которое в свою очередь основало Институт для образования беднейших благородных девиц, публичную библиотеку. Кстати сказать, в театре, руководимом Квиткой, начинал свою карьеру основоположник сценического искусства в России М. С. Щепкин, причем именно Квитка угадал то амплуа, которое принесло ему наиболее громкую славу. Он сказал: «Эх, брат Щепкин! играй в комедиях: из твоих фижм и министерства постоянно выглядывают мольеровские Жокрисы!»[5]

А институту благородных девиц, который был в то время единственным учебным заведением на Украине, в котором могли обучаться женщины, он, по свидетельству И. Срезневского, пожертвовал «почти весь достаток свой»[6]. По словам его первого биографа Г. П. Данилевского, «где возникало что-нибудь новое и нужно было дать толчок, являлся Основьяненко»[7].

Случилось так, что создание этого института сыграло первостепенную роль в судьбе самого Квитки. Приехавшая туда из Петербурга классная дама, бывшая на двадцать с лишним лет моложе его, вышла за него замуж и осчастливила его, по собственным его словам, на всю жизнь. Как пишет его биограф, «это была знаменитая и почтенная Анна Григорьевна, которой имя так часто встречается в „посвящениях повестей“ ее мужа, которая принимала участие во всех заботах и трудах нашего автора, лелеяла жизнь его, выслушивала и поправляла его

сочинения, смотрела на его литературную судьбу, как на свою собственную, на его сочинения, как на что-то сверхъестественное, и когда не стало на свете ее старого друга, она бросила свет и с нетерпением ждала минуты, когда могла за ним сойти в могилу»[8].

«Мой собственный ценсор и критик мой беспристрастный – так называл ее Квитка и продолжал: —…Я ей верю; что было бы без ее руководства? Если занесусь, она меня притянет; если опускаюсь низко, она велит вылазить или оставить и приподняться; она-то в пору меня останавливает в разговорах, в описании действий… Она судьбой дана мне в награду, не знаю, за что; но только из того Института, который здесь учрежден, она первая прибыла сюда классная дама и наградила меня собою за все заботы мои об Институте!»[9]

А вот свидетельство племянника писателя Валерьяна Андреевича Квитки: «Хозяйством заниматься он не любил и довольствовался самой необходимой прислугой. После обеда он обыкновенно отправлялся в свой кабинет, и тогда наставали лучшие часы его жизни. Он писал, нетревожимый никем, и только под вечер приходил прочитывать жене или свои свежие произведения, или статьи из столичных журналов. С женою он советовался, слепо доверял ее мнениям; а когда дело шло в его сочинениях *о высшем свете, французском языке и образованности,* то он решительно подчинялся ее приговорам»[10].

Образ жизни Квитки закреплен и в дошедшем до нас стихотворении, автор которого достоверно не установлен:

За Лопанью-рекой – именье Квиток.
Там, в тишине задумчивых аллей,
Жил и творил писатель знаменитый,
И дом его всегда бывал открытым
Для долгожданных дорогих гостей.
За пеленой осеннего ненастья
Течет беседа и свеча горит…
Ах, Боже мой, какое это счастье,
Когда душа с душою говорит!

Как позднее вспоминал Квитка в одном из писем, после открытия в Харькове в 1805 г. университета, а в 1808-м – театра весь «род жизни» в городе «переменился», и сам он сыграл в этих переменах далеко не последнюю роль. Его письма свидетельствуют о том, как занимали его тогда проблемы театра и как детально он в них вникал. В начале 1812 г. он писал одному из близких друзей А. В. Владимирову: «Скажу тебе накоротке, как

я поживаю. Имею честь быть директором театра по общему и единодушному избранию. Хлопот полон рот; один везде и за всем. Живу всегда в городе и не имею никак свободного времени»[11]. В другом письме тому же адресату жаловался: «Занялся совершенно театром и сделал его сколько-нибудь лучшим, нежели он был прежде. Беда моя: не имею хороших актеров. Нет ли у вас на Воронеже хороших? Присылай их ко мне: они найдут свои выгоды»[12].

Спустя много лет Квитка напишет статью «История театра в Харькове». Она была напечатана в «Прибавлениях к „Харьковским губернским ведомостям“» под названием «Театр в Харькове». О себе он не говорит в ней ничего, но впечатляет обилие детальной информации, которой насыщено это произведение. Первая попытка создать в Харькове театр или, по крайней мере, его подобие была предпринята в 1786 г. по случаю проезда через город императрицы Екатерины. Будущему директору было тогда восемь лет, но он великолепно осведомлен, как ставилась сцена и расписывались кулисы, что мастеровые были взяты из губернской роты и «сработали» всё, что им было приказано, что декорации расписал губернский механик Лука Семенович Захаржевский, которого «едва ли кто из харьковцев помнит», и т. д., и т. п. Перечисляется репертуар, цены на билеты в креслах, в партере, на галерее, упомянута изготовленная в отсутствие типографии писанная афиша, прибитая к фонарному столбу, и многое, многое другое. «И как все было хорошо в это безэтикетное, искреннее, патриархальное время»[13], – восклицает автор.

А вот как представлен «прибывший из Курска М. С. Щепкин: „Не во гнев *некоторым* сказать, его никто не наставлял и не учил: таланта, подобного Щепкину, нельзя произвести, он сам родится и часто бывает неизвестен *своему хозяину* – до времени. Мы все, не видавшие далее провинциальных театров, в Щепкине начали понимать, что есть и каков должен быть актер… так нам ли было учить его?“»[14]

Квитка активно содействовал изданию и распространению первых украинских журналов «Харьковский Демокрит» и «Украинский вестник». Соредактором «Украинского вестника» был вместе с Квиткой Р. Гонорский, член «Вольного общества любителей российской словесности», бывавший в Петербурге на его заседаниях и общавшийся там с будущими декабристами. В. Раевский и его брат А. Раевский печатались в «Украинском вестнике», а Рылеев использовал этот журнал при составлении «Исторического словаря русских писателей».

Именно на страницах «Украинского вестника» Квитка впервые выступил как прозаик, напечатав в 1816–1817 гг. серию

фельетонов «Письма к издателям», подписанных именем «Фалалея Повинухина». Продолжение их появилось в 1822 г. под названием «Письма к Лужницкому старцу» в «Вестнике Европы». Не приходится сомневаться, что избранный Квиткой псевдоним был призван напомнить читателю известные «Письма к Фалалею» Н. И. Новикова, которые он печатал в своем «Живописце».

На преемственную связь между этими двумя эпистолярными циклами указывал С. Д. Зубков, справедливо отметивший, что «сатирические „письма“ Квитки восходят к традициям названного Добролюбовым „сатирического направления“ XVIII в., определенного творчеством Н. Новикова, А. Кантемира, Д. Фонвизина, А. Радищева»[15]. Автор не зря поставил Новикова первым в этом списке. Квитка, конечно, не только знал произведения выдающегося просветителя, но и был осведомлен о его трагической участи. Расправившись с Радищевым, испуганная Французской революцией Екатерина II зверски обошлась с человеком, вызывавшим ее ярость на протяжении всего ее царствования. Оклеветанный и дискредитированный, он был без суда заключен на 15 лет в крепость, а когда после смерти императрицы Павел I его освободил, он был уже человеком безнадежно больным и душевно сломленным.

Хотя в письмах Новикова Фалалей фигурирует преимущественно как адресат и практически не характеризуется, имя его позднее стало нарицательным, синонимом тупости, невежества, порожденных бытом и нравами провинциальных помещиков. Квитка даже поместье иногда именует Фалалеевкой, чему последовали и некоторые другие литераторы, например Нарежный. Нарекая так своего героя, он использовал тот факт, что это имя успело приобрести определенное символическое значение. Все, что было уже известно читателю о Фалалее и фалалеевщине, готовило его восприятие к правильному подходу к «Письмам» Квитки.

В начале XIX века «Живописец» был вполне доступен заинтересованному читателю: он переиздавался шесть раз, в последний раз в 1829 г. Уместно напомнить и о том, что в Харьковской библиотеке, созданной при непосредственном участии Квитки, была широко представлена журналистика. А причину, по которой опубликованные в новиковском журнале материалы могли привлечь внимание Квитки, помогает установить характеристика, которую им дал Добролюбов: «В „Живописце“ напечатан целый ряд писем к Фалалею от уездных дворян, его отца, матери и дяди. Весь смысл этих писем заключается в том, что нынешнее время не так благоприятно для своевольства, жестокостей, обманов и пр., как прежнее блаженное

время. Это похоронный плач о погибшей дворянской воле, это вопль проклятия просвещению и правде, торжественно и незыблемо воцарившимся в области тьмы и застоя». Особенно близкой Квитке должна была быть манера, в которой они написаны и которую Добролюбов охарактеризовал так: «Письма эти очень замечательны по мастерству своего лукавого юмора»[16].

Квитка пришел в литературу далеко не юношей: когда печатались «Письма к издателям», ему было 38 лет. У него не было писательского опыта, но жизненный опыт у него был немалый, в людях и отношениях между ними он разбирался хорошо, и это, конечно, полноценно проявилось во многих его суждениях и оценках. Показательно, что спустя 60 с лишним лет газета «Киевлянин» отмечала, что из всего появившегося в «Украинском вестнике» самыми интересными были «юмористические „Письма Фалалея Повинухина“»[17].

Но еще важнее другое: в первых же опубликованных им произведениях он нашел и реализовал прием, к которому не раз обращался на протяжении последующих десятилетий и который с особым блеском проявился в созданном незадолго до смерти и самом совершенном образце его «умной» прозы – в романе «Пан Халявский»: характеризовать героя путем воспроизведения его собственных суждений. В сравнении с написанным позже «Письма к издателям» можно назвать детским лепетом, но анализировать и оценивать этот «лепет» нужно именно в соотнесенности с дальнейшим, как первые шаги в высшей степени продуктивном и плодотворном пути.

Объекты, которые становятся предметом наблюдений и оценок, многообразны, есть значимые, есть мелкие, и само их смешение пошло на пользу: оно создает ощущение откровенности, непосредственности, отказа от предпочтений одного другому. Читая «Письма», нельзя ни на минуту упускать из виду, что все они пронизаны иронией, но не демонстративной, а подспудной: автор постоянно чуть посмеивается над тем, что говорит, например, что жена его «капризна, своенравна, сердита, как злая женщина», но он повинуется, слушается во всем и угождает. «Все это в *порядке* вещей, и мы живем *согласно*. Единственное наше и ничем не прерываемое занятие: жена меня бранит, а я молчу; или я молчу, а жена меня бранит. В таких невинных и не вредящих *ближнему* упражнениях проводим мы большую часть года»[18].

Увидела жена театральную афишку, послала мужа ложу нанять, он «опрометью» пустился исполнять ее желание. Но поскольку театр для Квитки – это родное, давно и хорошо

знакомое, то под пером Фалалея появляются нестандартные суждения. Он находит бесподобной мысль устроить театр возле острога: входя в театр, вспоминаешь, каково там заключенным и будешь всякую сдачу в кассе или в буфете рассчитывать, чтобы послать деньги в острог. А завершается первое письмо, большая часть которого посвящена театру, соседствующему с острогом, таким рассуждением: «Театр принесет, я насчитываю, пять польз: барыш содержателю, пропитание актерам, удовольствие публике, освободится из заключения человек, часто безвинный, другой получит деньги – почти пропавшие, правительство избавится от лишней переписки и хлопот!»[19] Театральные ассоциации возникают и в последующих письмах: так он, описывая постоянство обстановки в своем доме, говорит: «…Утро, день и вечер – все одни и те же кулисы»[20].

Естественно, Фалалей не мог обойти вниманием получившую в то время нездоровое распространение тягу к иностранному и особенно к французскому. Его жену «сокрушает» то, что «*иностранного*-то она еще ничего не знает; хоть бы болтать немного приучилась». Услужливый муж просит издателей «Вестника» «известить, что нужен-де к такому-то иностранец – учить дитя по-французски. А вот вам и след: к нам на квартиру в Харькове приносил хлебы продавать один иностранец, и, кажется, француз. Потрудитесь отыскать его и поговорить с ним не согласится ли он?»[21] У всех на памяти был фонвизинский «Недоросль», где в учителя взяли кучера. Фалалей от Простаковых недалеко ушел: он готов взять в учителя продавца хлебов.

Требования весьма скромные: «выучить болтать хотя употребительные в публике слова; до правильного выговора дела нет – в свете понатрется. Когда г. мусье может учить читать – то хорошо; а когда нет – то и не нужно <…> Когда г. мусье на все сие согласится, то пусть приезжает в село… Он очень понравился жене моей. Да уж и проказник же, и весельчак, и преострая голова! Мы его ни слова не понимали; однако ж премного хохотали, когда он нам что-нибудь рассказывал по-своему. Нет – таки видно, что умница! Уж француза тотчас приметишь»[22]. Все в этом небольшом монологе, вплоть до тавтологии «г. мусье» выдает в авторе зоркого сатирика, тонко ощущающего природу слова.

Насмешками над угодливым и неумелым низкопоклонством поместного дворянства нафаршировано и следующее письмо. Здесь появляется новый персонаж – по сведениям Фалалея, в прошлом Французский граф, а ныне барон. Он оказался «человек бойкой», и когда мы «пустилися в расспросы про его землю и про

другие иностранные», «рассказы его полились рекою, хотя и мутною от смеси французского с русским (вспомним грибоедовскую смесь французского с нижегородским. – *Л. Ф.*), то усядется он на корабль, то верхом поскачет, то в плен попадется, то армиею закомандует – словом, вышел золотой человек».

То, что «золотой человек» беззастенчиво вешает им лапшу на уши, туповатому Фалалею и в голову не приходит, и он изрекает поистине замечательную сентенцию: «Из сего разговора узнал я в первой раз в жизни, что в каждом государстве разные нравы и обычаи. Ведь чудеса же на свете! Кому бы пришло в голову заметить это? А француз не пропустил»[23]. А когда тот вызывается стать учителем, восторгу нашего героя нет предела: «Нет таки правду сказать, великая нация, великие люди! Прошу же покорно наших русских посмотреть: не распознаешь, сударь, графа от простого дворянина иначе, как только по пашпорту или по бумагам; все так просто, так незатейливо. Нет, не скоро мы еще будем подобны французам; хотя и крепко хотим все перенять у них!» К общему восторгу новый учитель и властитель дум «созвал всю дворню, приказал барыню называть мадам, Дуняшу – мадемуазель, меня – Фалурден, а себя – мосье Леконт»[24]. Вне себя от счастья наш герой подписывает это письмо своим новым именем: «Фалурден Повинухин».

Некоторое время он пребывает в состоянии эйфории, в восторге от того, что он «уже теперь не простой русской помещик, а познакомился с французским просвещением» и «выбился из Фалалеев в Фалурдены». «Наши крестьяне неучи есть и будут <…>…Послушайте-ка *г-на* мусье, что он рассказывает про своих: он говорит, что там всякой из них пейзан, это ведь не шутка!»[25] Но постепенно дают себя знать изменения в отношении Повинухина к французу. Он пока еще готов говорить в его адрес похвальные речи и призывать пожалеть вместе с ним «о мусье Леконте: ему день и ночь нет покоя от беспрестанных трудов!», обещает сообщить «отрывки наших разговоров о политике; тогда-то вы отдадите долг справедливости сему великому человеку»[26]. Он еще верит, что, заботясь об образовании его жены и Дуняши, француз пригласил «из Москвы свою родную сестру, по прозванию мадам Пур-ту, преловкую, пресветскую и превеселую женщину».

Но, как видно из этого же письма, до его сознания начинает доходить, что действия Леконта не так уж бескорыстны: «Немного радость моя смущается, что управляет всем моим имением мусье Леконт, а я подавай денег. Занимал, – да уж и голова кружится; даже и подушные с крестьян, вместо казны, в руках у француза». Помогает обирать незадачливого помещика и мадам Пур-ту:

«взглянет – я и растаял, заговорит – я ключи вынимаю, запоет – отпираю шкаф, возьмет меня за бородку – я за деньги, она их подхватит – да и тягу»[27].

Но полное отрезвление наступает позднее, о нем мы узнаем из письма, присланного из Тулы. «Вот куда меня нелегкая занесла! подобных приключений, я думаю, ни с одним православным не случится. Чтоб сквозь землю провалились все французские Леконты, маркизы, бароны, мусьи, мадамы, мамзели с их кружевами, машинами, станками, нитками! чтоб отныне и до века всякой человек – хоть крошечку честный – боялся прикоснуться, как к чуме, ко всему французскому в воздухе, земле, огне и воде! Ох, мои батюшки! не могу опомниться до сих пор. Ну, уж удружили мне своим просвещением, обогатили своею экономиею, возвеселили новомодными заведениями!! Был барин – стал хуже холопа; мог прокормить сотню французских голяков – теперь сам гол как сокол; имел 1000 душ – и чуть свою душеньку удерживаю в теле…»[28]

Подробно описав историю своих злоключений, разоренный помещик в завершение своего пространного послания пишет: «Прощайте, господа! Да сохранит вас судьба от всего, что только называется *французское.* Торжественно отрицаюсь от французского наименования! Все, все суета: я испытал, что ни имя, ни чин не умножает в человеке достоинств» и подписывает его как прежде: «Фалалей Повинухин»[29]. После всего сказанного эта фамилия воспринимается как значимая, восходящая к глаголу «повиниться».

Квитка не только отдавал себе отчет в том, что его Фалалей – лицо типическое, но и прямо указывал на это уже во втором письме: «…Не я ведь первый, не я последний; и потому не воскликнет ли кто, прочтя письмо мое: „Уж не я ли это?“»[30]. Ограниченность интересов и бесчеловечность родственных отношений в «фалалеевской» среде – дело обычное, широко распространенное. Он распинается в проявлениях внимания к своей жене, а между тем был бы рад ее кончине: возможность сказать ей «Со святыми упокой» означало бы для него «счастливый оборот жизни». И это, по его убеждению, норма жизни, отсюда повторяющиеся выражения: «как водится в супружестве», «многие позавидуют перемене моей участи», «многие желают себе такого счастия» и т. п.

Как характерное явление изображены и расправы с крепостными. Автор любуется тем, как обращается с ними Ле Конт: «…Умереть надобно со смеху, как он их школит; чуть не так затворил или отворил дверь – так и оплеушина, а подчас и на конюшню»[31]. Он в восторге от результатов воспитания

французом горничной Дуняши: «Что же, подумаете вы, он с Дуняшей сделал? В первой день, как с ней занялся, собрались мы вечером пить чай; вот он входит с нею; она вдруг отпустила книксен – да какой же? хотя бы первая танцовщица у вас на театре. Не успели мы прийти в себя от удивления, как вдруг она преобстоятельно сказала: „Бон соар!..“ Слезы радости брызнули в мою чашку, и едва не уронил я трубки!»[32] После того, что читатель только что узнал о методах, которыми француз «школил» крепостных, он без труда представит себе, чего стоили Дуняше эти достижения: сколько получила «оплеушин», как была выпорота на конюшне.

Типичен и образ тещи Повинухина – помещицы Вопиюхиной, – воплощения ханжества, безнравственности и ненасытного стяжательства. Эта богобоязненная святоша составила после смерти мужа фальшивое завещание и затаскала по судам законных наследников – собственных внуков. Как отмечал С. Д. Зубков, опираясь на материалы, собранные Г. П. Данилевским, Квитка сам соприкасался с подобными случаями, выезжая на расследования, во время которых убеждался в продажности суда (в одном из писем фигурирует пословица, указывающая на распространенность этого явления: «Правду говорят: не купи села, купи судью»), выявлял факты взяточничества, мошенничества, безнаказанности совершенных уголовных деяний. Это надолго засело в его памяти и послужило материалом, который использовался как в комедиях, так и в прозе.

Новая серия посланий Повинухина появилась в 1822 г. под названием «Письма к Лужницкому старцу» в «Вестнике Европы». Выбор Квиткой именно этого журнала, возможно, объясняется тем, что между ним и «Украинским вестником» выявилось, по выражению Г. П. Данилевского, «некоторое сочувствие». В 1818 г. в «Вестнике Европы» было опубликовано письмо Лужницкого старца «К господам издателям Украинского вестника», а в 1820-м появилось «Письмо в Украинский вестник», который к тому времени уже не существовал. Таким образом, Квитка был как бы спровоцирован адресоваться именно в этот журнал. Хотя псевдоним «Лужницкий старец» использовали, помимо Каченовского, также Яковлев и Погодин, наиболее вероятно, что Квитка адресовал свои письма именно издателю «Вестника Европы».

Первое письмо целиком посвящено описанию того, что случилось с Фалалеем с тех пор, как мы расстались с ним в тульском трактире: произошла «премена его участи на лучшее»: он «опять полновластный хозяин в доме и во всем имении моем,

после пятилетней разлуки соединен с дражайшею моею супругой и малютками <…> опеку велено снять, а меня ввести во владение <…> Имения своего я не узнал: мельницы, риги, молотильни и бог знает чего не устроено, и все наилучшим образом! На гумнах скирды хлеба; мужики разбогатели <…> уж это не французское управление <…> В рассуждении денег тужить не о чем; долгов ни копейки, кредит снова есть: теперь заживем»[33].

Начиная со второго письма, Фалалей переходит от описания своих личных дел к рассуждениям общего порядка. Видно, что он сильно изменился за эти годы, набрался опыта, способности к рассуждениям. Письма его стали короче, а их стиль содержательнее и строже. Если Фалалей первой серии писем был объектом откровенного осмеяния, то теперь соотношение между его суждениями и авторской позицией стали далеко не такими однозначными. Уже в начале второго письма Фалалей говорит: «Чудно на свете стало; все не так, как было в наше время!»[34] – и все дальнейшее в сущности поясняет, аргументирует и детализирует этот тезис.

Произошедшие перемены ему явно не по душе. Прежде «дворянство понимало свою вольность и пользовалося ею; а теперь все не то: только и слышишь: *польза общая того велит*. А ета польза тащит деньги из кармана. Там училища, там больницы, там богадельни, да и господь знает что! <…> А все ето лет двадцать так переменилося, как все принялись за просвещение! Без него и в чины нынче выйти нельзя»[35]. На деле оказывается, что просвещение карьерных перспектив не открывает: сын соседа «по-русски, по-французски и по-немецки болтает, а далее титулярного не дошел; не смеет к черной доске подойти. Вот в наше время и при таких затеях он бы попал в коллежские, потому что достатком изобилен; ведь богачи в тот век нанимали же за себя в караул, так можно бы подрядить, чтоб существительного и прилагательного написали за него, сколько нужно для штабства. Нет таки, все не то и не так идет, как при нас! Понятия совсем не те!»[36]

Врагом просвещения его не назовешь, скорее уж мы от его нынешнего уровня отстали: «Что и говорить! ученье свет! не нашему темному времени чета! Сколько книг выходит! Ведь без ума книги не напишешь, а напечатать и не думай». Не мог основатель института благородных девиц особо не отметить, что «и женское воспитание дошло до совершенства. Посмотри, как ловко танцуют, как зашнурованы; пустятся же по-французски, так матушки за ними *пас*! Иная и без пансиона такая выдет вострушка, что в глаза мечется»[37]. Упомянута и знакомая нам по

прошлым письмам Дуняша, возвращенная из пансиона: «Вышла козырь-девка». Это определение спустя много лет станет заглавием одной из наиболее известных повестей Квитки.

Однако, присматриваясь к тексту письма, нельзя не ощутить, что к восторгам Фалалея подмешана немалая доля иронии. «Преотменное воспитание» заключается в том, что «все питомицы зашнурованы, втянуты так, что любо глядеть; коли иная не прямо себя держит, так на пол ее часов на шесть, чтоб лежала на спине <…> Все, мои крошки, худеньки! Да и способ прекрасной, чтоб не толстели: взрослым суп, картофель и репа; средним суп да репа, а меньшим одна репа. Зато уж ни одной толстенькой не увидишь; все, как палочки, и экономия в порядке. А буде кто из родителе и поклонился бархатом или гарнитуром, так тотчас дочка и поступит в прилежные и за отличие удостоится кушать с м. *Сан-Дан* за одним столом. Тут уж все не то; одних пирожных три и всего вдоволь»[38].

Иронией пронизано и последнее письмо, наполненное жалобами на то, что при нынешнем разномыслии он, бедняга, не знает, чему верить и осознать, «хорошо ли мы живем? И так ли в нашем звании жить должно?» Сам я, признается он, не люблю иметь своего мнения. Куда нам за умниками! Пусть другие рассуждают, а я к готовому пристану. Только та беда, что не знаешь, к какому мнению пристать. Один убеждает деньги не проматывать, а приумножать их торговыми оборотами, другой, напротив, говорит: «…Живи в свое удовольствие, не отказывай себе ни в чем; содрал все с мужичков, занимай; продай голяков и доживай веку. Пусть те страдают, кому ты должен; а умер, тогда хоть волк траву ешь!»[39]

Описав мошеннические проделки, творящиеся вокруг, Фалалей восклицает: «Вот умение жить! вот просвещение!», «Нынешний век не нашему старинному веку чета! Не прежнее однообразие!» Как пример распространения дворянских нравов в мещанском кругу приводится рассказ о том, как, «накормивши, напоивши нас, хозяин не поскупился подать нам еще и кофе, сваренное в горшке, что был прежде с кашей». Он просит «старца» вразумить его, наставить, «как переменить весь сей порядок», но оказывается, что для себя он уже все решил: «Заплатить долги я уже знаю как: четверно оброк – так лет в пять все выплачу и копейку зашибу, и могу вступить в откуп, подряды да и разбогатею. Тогда излишек можно будет проживать по своей воле»[40].

Сопоставление двух «серий» фалалеевских писем – «Писем к издателям» и «Писем к Лужницкому старцу» подводит к значимым выводам. Пронизывающее последние

противопоставления «века нынешнего» «веку минувшему» – безусловное следование «Письмам к Фалалею» Новикова, где сравнения также выдержаны преимущественно на материальном, бытовом и лишь отчасти нравственном уровне: «Экое времечко; вот до чего дожили; и своего вина нельзя привезть в город: пей-де вино государево <…> Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать; нельзя у соседа и земли отнять: в старину-то побольше было нам вольности <…> Нонече и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей брать не велят, а бывало, бирали на сто и по двадцати по пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой <…> Вера-та тогда была покрепче; во всем, друг мой, надеялись на Бога, а нонече она пошатнулась, по постам едят мясо и хотят сами все сделать; а все это проклятая некресть делает: от немцев житья нет <…> Эх! перевелись-ста старые наши большие бояре. То-то пожили да поцарствовали, как сыр в масле катались: и царское, и дворянское и купецкое, все было у них <…> А нынешние господа что за люди, и себе добра не хотят. Что ж и говорить: все пошло на немецкий манер»[41] и т. п.

Но есть и отличия. Новиковские персонажи твердо знали, чего они хотят и что их не устраивает в произошедших переменах. Автор «Писем к Лужницкому старцу», хотя тоже скорбит, что «все идет на иностранный манер», такой уверенностью в своей правоте уже не обладает, он сомневается: «…хорошо ли мы живем? И так ли в нашем звании жить должно?» «Нынешний век», нарождающийся капитализм уже подрывал сложившиеся устои и материальных, и нравственных отношений, и Квитка их ощущал, но до конца, видимо, не осмысливал.

С. Д. Зубков обращал внимание на то, что перемены, наблюдаемые в суждениях Фалалея, отразили эволюцию самого Квитки, что сказалось и в стилевых отличиях «первой серии» от «второй». Исчезла говорливость, за которой крылась неясность мысли, поверхностность безапелляционных суждений, исчезли сомнительные остроты, зато появилось ощущение определенной растерянности перед лицом того, что «все не то и все не так идет».

Особого внимания заслуживает догадка исследователя, что к 1822 г. Квитка, обогащенный обильным жизненным материалом, оказался не готов к его осмыслению и обобщению, и поэтому «вторая серия» оборвалась на четвертом письме: «Уже недостаточно было ставить недоуменные вопросы, нужно было на каждый из них дать определенный ответ». Начиная «письма» Повинухина, Квитка имел намерение изобразить историю всей жизни этого недотепы. В тексте разбросано много намеков о

приключениях, которые в опубликованных частях цикла не объясняются. Очевидно, предполагалась публикация полного «жития и похождений» Повинухина или, по крайней мере, отрывков его «разнокалиберной жизни с самого детства». Автограф «писем» не сохранился, нет сведений и о том, существовала ли в то время рукопись упоминаемого «жития», или оно оставалось только в сфере замыслов и заготовок. Однако «письма» Повинухина явились частичным наброском, первым зернышком, из которого выросли будущие Пустолобов-Столбиков и Халявский. Но между ними пролегла длительная творческая пауза и целый период драматического творчества[42].

В мае 1828 г. Квитка досрочно уходит в отставку с поста уездного предводителя дворянства, что некоторые его биографы связывали с интенсивным обращением к драматургии. В 1828–1830 гг. он отправляет в Московский цензурный комитет несколько комедий: «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе», «Дворянские выборы», «Турецкая шаль, или Так водится», «Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника», «Шельменко – волостной писарь», «Ясновидящая». Исследователи с полным основанием усматривали связь между проблематикой этих пьес и «Письмами», появившимися десятилетием ранее: «Каждая из них содержала как бы часть ответа на вопрос Фалалея Повинухина: „Хорошо ли мы живем? И так ли в нашем звании жить должно?“»[43].

Позднее драматургическая струя в его творчестве ослабевает. Хотя в 1830-е и в начале 1840-х гг. были созданы самые популярные его комедии «Шельменко-денщик» и «Сватанье на Гончаровке», главным его делом в литературе становится проза. Обращение к прозе свидетельствовало о том, что живший в Харькове Квитка чутко улавливал запросы русского литературного процесса. Еще Бестужев в первом из своих обзоров «Взгляд на старую и новую словесность в России» сетовал, что «у нас такое множество стихотворцев (не говорю, поэтов) и почти вовсе нет прозаиков»[44]. Буквально то же писал М. Ф. Орлов Вяземскому: «Займись прозою, вот чего не достает у нас. Стихов уже довольно»[45]. А десятилетием позднее, т. е. как раз тогда, когда Квитка четко определился как прозаик, Бестужев выразил свою прежнюю идею еще более решительно и страстно: «Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать. Наконец рассеянный ропот слился в общий крик: „Прозы, прозы! Воды, простой воды!“»[46]. Но Квитка не просто обратился к прозе, он нашел тот жанр, в котором наиболее преуспел и в котором были написаны произведения, сыгравшие определяющую роль в

его литературной репутации, – малороссийская повесть. Первой из них стала повесть «Ганнуся».

Предположительно она была написана в 1831 г. и в начале 1832-го опубликована в журнале «Телескоп» под названием «Харьковская Ганнуся» и с таким редакционным уведомлением: «Я получил от одного почтенного русского писателя, живущего в Малороссии, две повести с лестным для меня правом пересказать их по-своему. Я никак сим не воспользовался бы, если б пределы журнала позволили поместить их в том виде, как они мне доставлены; но я должен был их сократить слишком втрое. Следовательно, автора должно благодарить за изобретение и расположение, а за рассказ ответственность падает на меня. Погодин»[47].

В письмах Квитки к Погодину «Ганнуся» упоминается несколько раз. 10 июня 1831 г. он пишет: «Пленяясь рассказом Вашим, решился препроводить к Вам: 1-е. Канву для повести, написанную мною кое-как из рассказа, переданного мне *почти* за истину. Если содержание ее не слишком щекотит разборчивость, то повесть из нее, пером Вашим обработанная и переделанная, будет очень занимательна»[48]. Думается, что слова «пленяясь рассказом Вашим» не были просто данью вежливости. Уже опубликованные к тому времени и, без сомнения, известные Квитке повести Погодина должны были импонировать ему уже тем, что в сочувственных тонах воссоздавали картины народного быта и сатирически изображали нравы купечества и провинциального дворянства.

2 июля 1832 г., уже увидев результат погодинской «обработки» и «переделки», Квитка принимает его «с большою благодарностью». «За „Ганнусю“ – пишет он, – точно виноват: спешил или рассеян был, что, и предполагая говорить, как-то пропустил. Премного за нее благодарен. Я рублю всегда с плеча, что идет в голову. До обработки дела нет и потому еще, что сил недостанет. Конечно, она не могла явиться в данном мною ей виде, и Вы чувствительно обязали пристричь, где надобно, пообрезав лишние складки, все, одним словом, *причепурив* (как у нас говорят) ее, так что она пошла в свет за добрыми людьми. Нет. Напрасно Вы полагаете, что я без внимания ее оставил, много и премного благодарен»[49].

Есть, однако, основания предполагать, что обработка, которой Погодин подверг «Ганнусю», не вполне удовлетворяла Квитку, и это побудило его в 1839 г. переиздать повесть отдельной книжкой. Материал, которым мы располагаем, весьма скуп, но он подтверждает, что Квитка этим произведением дорожил, принимал близко к сердцу даже такую деталь, как

формат книжки («Книжонка будет маленькая, то и формат крошечный можно дать с красивою сорочкою», «и вышла бы миленькою, дамскою книжечкою»[50]). В другом письме он сообщает об отрицательном отношении своей жены к «Ганнусе» («Анна Григорьевна не полюбила ее сначала и теперь ворчит на меня за выпуск ее»). Но как он ни считался с ее мнением, на этот раз, хоть и в очень обтекаемой форме выражает свое несогласие: «По-моему, пусть идет в ряд за прочими, – есть и плоше ее»[51].

В повести явственно дают себя знать веяния тогдашней романтической прозы: таинственное происхождение героини, запутанная интрига призваны держать в напряжении внимание читателя. Но обилие бытовых подробностей, подлинность народной речи, жизненность изображаемых характеров придают произведению своеобразие и выявляют самобытное дарование автора. Бричка, увязшая в глубокой грязи, неопрятные торговки на своих высоких обширных лавках, «кучами без всякого порядка навален был лук, лен, сало, мел, охра; в кадках стояло постное масло, деготь; сверху висели нитки, стручья красного перцу, крашеная шерсть…» Достоверность картины дополняют знакомые жителям Харькова топонимы: Лопанский мост, Холодная гора, «лавки, известные тогда под именем Леванидовских, выстроенные в 1796 году бывшим генерал-губернатором Леванидовым»[52].

С первого появления героини повести писатель приковывает наше внимание к противоречиям ее облика: «Я увидел девочку лет двенадцати с большими голубыми глазами, беленькую, румяненькую, одним словом, прекрасненькую, но в затасканном длинном шушуне, подпоясанную грязным-прегрязным полотенцем, или, как здесь называют, рушником. Маленькая ее головка повязана обрывком затасканного шелкового платка, от давности потерявшего свой цвет, из-под которого висела длинная русая коса с алою новою лентой, вплетенной на конце»[53].

В первом же разговоре она проявляет сдержанную гордость и независимость характера. На предложение денег «на башмаки… на платье… на что захочешь» отвечает отказом, не соглашается сесть в дрожки («Оце ще! <…> как мне можно с господами ездить на дрожках? А что люди скажут?..»). С тем же чувством собственного достоинства она воспринимает все происходящее. С трудом отыскав «булочницу Чучукалу», повествователь узнает «подробности, касающиеся к Ганнусе»: проезжавшая мимо барыня оставила ей малютку, а также запечатанный пакет с бумагами, обещала вернуться через месяц и исчезла. Ситуация завершается благополучно: повесть заканчивается трогательной сценой, когда мать и дочь обретают друг друга, но наиболее значимо не это, а доскональное знакомство Квитки с украинскими национальными

характерами, деталями украинского быта, с местными обычаями и топографией Харьковщины.

Глава вторая
Малороссийские повести

1

В том же 1832 г., когда «Ганнуся» появилась в печати, Квитка пишет другую повесть – «Маруся», в которой справедливо видеть не только одно из его главных творческих свершений, но и начало направления его писательской деятельности, в котором он продвигался почти десятилетие. В эти годы Квитка создает три сборника «Малороссийских повестей». Два из них были изданы в 1834 и 1837 гг., третий, подготовленный автором к печати, дошел до нас в автографе, находящемся в Отделе рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины (ф. 67, № 823, 75).

Приступая к публикации своих повестей, Квитка изначально намеревался выпускать их в свет частями или, как он сам выражался, «выдачами», соответственно на титульном листе первого сборника значилось «Книжка первая», а в завершение – «Конец первой книжки», а в следующем соответственно «Книжка вторая» и «Конец второй книжки». Сборник, дошедший до нас в рукописи, имеет заголовок: «Малороссийские повести, рассказанные Основьяненком. Книжка третья». Так же, как оба изданные, он включает три повести и завершается пометой: «Конец третьей книжки».

Принципиальное значение имеет и тот факт, что произведения, вошедшие во все три сборника, связаны общей нумерацией. В первый вошли повести, названия которых предваряются римскими цифрами I, II, III, во второй – IV, V, VI, в третий – VII, VIII, IX. Таким образом, эти три сборника представляли собой в глазах их автора единое целое. Планировалось ли их продолжение, мы не знаем, во всяком случае документальных сведений об этом не сохранилось.

По-видимому, автор «Ганнуси» быстро ощутил противоречие между романтизированной формой своего произведения и настойчиво прорывающейся во многих местах реальностью, установкой на воспроизведение так хорошо знакомого Квитке украинского быта – и у него хватило решимости это противоречие устранить.

Элементы таинственности, традиционно присущие романтической повести, погоня за занимательностью сюжета в «Марусе» отсутствуют вчистую. Повествование так безыскусно, прозрачно и кристально, что вызывало ассоциации с житийной

литературой. С публикацией этой вещи он не спешил, но многочисленные упоминания о ней в его письмах подтверждают, что его отношение к этому своему детищу было особое. Формально история «малороссийских повестей» Квитки начинается с «Ганнуси», но в действительности именно в «Марусе» писатель в полной мере нашел себя.

В ожидании выхода «Малороссийских повестей», где она должна была появиться, он поминает споры о том, что «на нашем наречии нельзя написать ничего серьезного, нежного, а только лишь грубое, ругательное, кощунное», и именно в этой связи говорит: «Мне хотелось слышать беспристрастное заключение: имеет ли повесть „Маруся“ что-нибудь из того, что желалось выразить»[54]. 7 января 1839 г. благодарит Плетнева «за удостоение моей „Маруси“ помещением в журнале, издаваемом Вами, в переводе моем же и за все Ваши ободрившие меня отзывы»[55]. «Причины внимания, коим удостоена „Маруся“ и другие», он видит в том, что, они «писаны с натуры, без всякой прикрасы и оттушевки»[56]. Большое значение он придает и языку этих произведений: «…не могу, не умею заставить их говорить общим языком, влекущим за собой непременно вычурность, подбор слов, подробности, где в одном слове сказывается все»[57].

Не будем пытаться перечислить все упоминания об этой повести в письмах Квитки, но обратим особое внимание на письмо Плетневу от 26 апреля 1839 г. «Писав „Марусю“, я не узнал себя, что могу так писать. <…> Когда вышла первая часть повестей, отовсюду были отзывы, что они плакали, как Марусю погребали, и я готов был плакать о них. Были и такие, что благодарили меня, что я доставил лакеям их чтение, понимаемое ими; натурально, что я смеялся над такими. Немногие заметили, как Маруся, с Василем пересыпаясь песочком, когда говорила с ним о чувствах своих, и сказали, что мне не нужно другой эпитафии „Он написал Марусю“»[58].

Что же касается желания Квитки «слышать беспристрастное заключение: имеет ли повесть „Маруся“ что-нибудь из того, что желалось выразить», то он получил его от Белинского, сказавшего именно те слова, которые, на наш взгляд, должны были запасть в самую его душу: «Кроме Наума, Маруси, Василя и Насти, в повести „Маруся“ есть еще герой – и герой первый, который важнее и Наума, и Василя, и Насти, и самой Маруси: это – Малороссия, с ее поэтическою природою, с ее поэтическою жизнию простого народа, с ее поэтическими обычаями. Этот-то герой и составляет всю заманчивость, всю поэтическую прелесть повести. Автор в лицах этой повести передал известные черты этого героя не как художник, а как описатель и человек глубоко

чувствующий. Поэтому каждая страница, каждое слово его проникнуто, согрето чувством. Кроме того, рассказ его отличается малороссийским простодушием, которое очень удачно передано переводчиком. Можно ли без умиления и наслаждения читать подобные места? <…> И вся повесть состоит из таких мест. Быт сельских жителей, их нравы, обычаи, поэзия их жизни, их любовь – всё это изображено так, что стоило бы более подробного рассмотрения. Взгляд автора на человеческое сердце очень прост, даже простоват; но эта простота накидная, притворная – сквозь нее проглядывает глубина и могущество мысли…»[59]

Автор начинает «Марусю» таким рассуждением: «Часто мне приходит на мысль: для чего бы человеку так сильно привязываться к чему-нибудь, не только к вещи, даже и к милым для нас людям: жене, детям, искренним приятелям и другим? Прежде всего подумаем: разве мы на сем свете вечные? И что есть у нас, – скотина ли, хлеб на гумне, имущество в сундуках, – разве этому всему так без порчи и быть? Нет, ничто на свете не вечное; да и ты сам что? Сегодня жив, завтра что бог даст!»

Смысл и функция этой сентенции, конечно, не в том, чтобы напомнить известное каждому «Memento mori». Все дело в тональности, в которой об этом сказано. Ведь сборник, в котором читатель впервые увидел «Марусю», назывался «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком», и уже этим Квитка ориентировал и себя, обозначенного не полным именем, а уменьшительным: «Грыцько», и своего собеседника, которому говорит вещи хорошо ему известные, на тональность обыденного доверительного разговора. Этот собеседник – сельский житель, каковыми было в ту пору большинство украинцев: его достояние – «скотина», «хлеб на гумне».

И эту тональность он заботливо сохраняет на всем протяжении повествования, в котором через каждые несколько строк появляются такие характерные для бытовой беседы обороты: «Вот постигла его злая беда. Что же он? Ничего», «Об одном только они тужили: не посылал им Бог детей. Так что же?», «Да и рады же были оба, и Наум и Настя!», «Да и что-то за дитя было!», «Цур им! Согрешишь только, глядя на таких», «А чтоб какой парубок да посмел бы ее затрогать? Ну, ну! Не знаю», «Что ж Маруся? И она, сердечная, что-то изменилась…», «Да уж и танцюра! У нас такого во всей слободе нет», «…Она пока не вошла в другую улицу, то даже три раза оглядывалася. А для чего? Кто ее знает? Девичью натуру трудно разгадать». Это выписано нами лишь с первых нескольких страниц повести. Но Квитка на всем ее протяжении сохранит эту доверительную тональность, присущую разговору с близким человеком, которому

без раздумий выплескивает все, что лежит на душе.

А служит эта тональность тому, чтобы читатель глубже воспринял и ощутил содержание повести, в которой описана подлинная, высокая трагедия. Этому подчинены все умело и со вкусом отобранные Квиткой элементы ее стиля. Он добивается того, чтобы мы вместе с ним полюбили Марусю и любовались ею. «Да что же за девка была! Высокая, пряменькая, как стрелочка, черноволосая, глазки как терновые ягодки, черные брови как на шнурочку, личиком румяная, как роза, что в панских садах цветет, носик себе пряменький с небольшим горбиком, а губки как цветочки расцветают и между ними зубки, точно как жерновки, как одна, на ниточке снизаны; когда было заговорит, то так пристойно, разумно, как будто флейточка заиграет нежно, что только бы ее и слушал; а как улыбнется да поведет глазками, а сама покраснеет, так вот точно, как будто шелковым платком оботрет запекшиеся уста».

Под стать ей и «Василь, хлопец славный, белокурый, чисто подбритый, чуб опрятный, усы казацкие, глаза веселые, как звездочки, лицом румяный, проворный, живой, учтивый; жупан на нем синий и китайский чекмень; поясом из английской каламенки подпоясан; в тяжинных шароварах; сапоги славные с подковами». Но, увидев Марусю, «стал наш Василь сам не свой, и как там говорят, как обваренный. То был веселый, шутливый на выдумки, на прибаутки прежде всех; только его и слышно, от него вся хохотня. Теперь же тебе хотя бы полслова проговорил. Голову понурил, руки опустил под стол и ни до кого ни полсловом; все только взглянет на Марусю, тяжко вздохнет и опустит глаза вниз».

«Что же Маруся? И она, сердечная, что-то изменилась: то была, как и всегда, тиха, а тут уж и вовсе, хоть домой идти. Что-то ей стало и скучно и грустно, и как взглянет на Василя, так ей так его жаль станет, а чего? И сама не знает. Разве, может, того, что и он сидит такой невеселый. А еще пуще, как один на одного разом взглянут, Марусю как лихорадка из-за спины так и морозит… И все бы она плакала. А Василь как будто в самой душной хате, как будто кто его тремя тулупами покрыл и горячим сбитнем поил. Вот они скорей один от другого отворотятся и кажется, что и не смотрят; но вот Василь только рукою поведет или голову куда повернет, то уже и Маруся и покраснела, и опять взглянутся между собою».

Детальность этих описаний полна глубокого смысла. Для того чтобы читатель воспринял дальнейшее развитие событий так, как это задумано автором, он должен уже сейчас проникнуться как можно большей симпатией к героям повести,

воспринимать их беды, как свои собственные. Важно поэтому не только то, что Маруся и Василь красивы, но и то, что чувства, вспыхнувшие в них обоих, целомудренны, и выражают они их так, как то предписано народной моралью. Квитка любуется и побуждает своего читателя любоваться не только бровями и губками Маруси, усами и глазами Василя, но тем, как сдержанно они себя ведут, какую проявляют способность не выставлять напоказ окружающим происходящее в их душах.

При этом необходимо не забывать об одной важной особенности произведений Квитки. Когда мы читаем, например, романы Жюля Верна, нам совершенно безразлична национальность их героев. Мы и в памяти не держим, что капитан Грант и лорд Гленерван – англичане, Жак Паганель и Пьер Аронакс – французы, а Сайрус Смит и Гидеон Спилет – американцы. С их характерами это совершенно не связано. Иное дело Квитка. Персонажи его произведений, как, впрочем, и персонажи «Вечеров на хуторе близ Диканьки», – это именно и только украинцы, люди, выросшие в украинской среде, воспитанные в украинских традициях.

Белинский, не бывший украинцем и, кажется, даже не бывавший на Украине, проявил изумительную чуткость, когда написал, что главный герой «Маруси» (и, конечно, не только «Маруси») – это Малороссия и при ее характеристике четыре раза подряд повторил эпитет «поэтический» («с ее поэтическою природою, с ее поэтическою жизнию простого народа, с ее поэтическими обычаями. Этот-то герой и составляет всю заманчивость, всю поэтическую прелесть повести»). Нет сомнения, что для него этот эпитет заключал в себе очень значимую положительную оценку. Вспомним, что и Даль определял это слово как «изящный», «относящийся к поэзии», а поэзию (в числе прочих значений) – как все «духовно и нравственно прекрасное» и как «изящество, красоту, как свойство, качество, не выраженное в словах». Не приходится сомневаться и в том, что читателями своей повести Квитка видел прежде всего украинцев и исходил из того, что ее герои будут ими оцениваться, исходя из норм и традиций украинской морали.

Если мы проникнемся теми побуждениями, которыми руководствовался Квитка, то не будем упрекать его ни в пространных описаниях, ни в углублении в детали переживаний влюбленных, всплесках ревности, испытываемых ими, и тех препятствий, которые им приходилось преодолевать. Наум и Настя, конечно, любят Марусю. Квитка не случайно упоминал о том, как они ждали ребенка и как благодарили Бога, пославшего им «дочечку». Но понять происходящее в ее душе им не дано. Это

понимает только Квитка, отсюда и высокая эмоциональность его сопереживающих слов: «Вот так-то бедная Маруся, не хотевши и вспоминать про Василя, только об нем одном и думала. И хоть бы тебе в часок глазки свела! Плакала да грустила целехонькую ночь. А и длинная же у нас и ночь на Зеленой неделе! <…> Боится, а сама не знает чего… Если бы земля расступилася, она так бы и бросилась туда, да и… Василя потащила бы с собою; когда б ей крылья… улетела б она на край света… да не одна, а все-таки с Василем… Что же ей делать? Земля не расступается, крыльев у нее нет, ноги как будто не ее». «И Василь, – продолжает Квитка свой рассказ, – был не лучше ее. Не только работу, оставил хозяина и город; знай, бродит вокруг села, где живет Маруся. Ходит, ходит – в бор пойдет; над озерами, где с нею сидел, сядет: нет Маруси, не идет Маруся».

И вот наступает долгожданный для обоих влюбленных день, когда приходят к родителям Маруси сваты просить ее руку для Василя, и Квитка, великолепный знаток установленных обычаев и традиций, воспроизводит эту сцену не как деловой разговор, а как некое священнодействие и, видимо, не будучи полностью уверен, что будет правильно понят менее осведомленными читателями, сопровождает ее показательным примечанием: «Все описываемые действия и разговоры должны быть соблюдены во всей точности. Родители и сваты, зная друг друга очень коротко, говорят установленное, *законные речи*, как будто вовсе незнакомые между собою, и будто не постигая, зачем пришли и чего требуют от них сваты». Подобными примечаниями сопровождает автор и продолжение разговора, потому что без него побуждения и глубинная мотивация поступков действующих лиц остались бы непонятными читателю.

Сватовство, хоть и не сразу, но завершается успешно, и важно видеть, как Квитка об этом говорит: не как сторонний наблюдатель и повествователь, а как близкий человек, проникающийся невзгодами и радостями, которые переживают персонажи повести, как своими собственными: «Как же развеселился Наум! Давай музыку, да и давай! <…> Батюшки! Поднялися танцы, да скоки, так что ну! <…> Такая гульня была, что укрой боже! Чуть ли не до света гуляли. <…> Думаешь, один день прошел, ан гляди, уже и недели нет. Так было с Василем и с Марусею: все вместе, да вместе, как голубь с голубкою. <…> Вот так-то они в последние часы разговаривали и обое плакали беспрестанно! А когда уже пришло время совсем прощаться, так что там было!.. Когда уже и старый Наум так и хлипает, как малое дитя; а мать, смотря на слезы да на скорбь Марусину, даже слегла; так уж про молодых что и говорить!.. <…

> Батюшки! Как зарыдает Маруся! Да так и повисла ему на шею! <…> Что же? Только и речей…» и т. п.

В той же тональности, как о собственном горе, рассказывает Квитка о болезни и смерти Маруси, об отчаянии, охватившем ее вернувшегося жениха: «Так вот какую свадьбу нашел Василь! А как увидел свою Марусю, вместо того, чтобы сидеть на посаде, лежащую на лавке под церковным сукном; хоть убрана и украшена, да не к венцу с ним, а в могилу от него идти! Вот такую ее увидел, вскричал жалобно, застонал, побледнел как смерть, да тут же упал как неживой!..»

Через два года приехавший из Киева человек привез Науму и Насте поклон от Василя, присовокупив к этому потрясшее их известие: «Видел его в Киеве, и он уже не Василь, а… отец Венедикт…»

«– Как это так? – вскричали оба старика.

– А так, – говорит человек, – что он там постригся в монахи».

Когда же старики поехали в Киев и спросили о диаконе по имени Венедикт, то получили ответ: «Помяните его уже за упокой! Он и пришел немощной, да-таки себя и не поберегал; не слушал никого, искал болезней и заморил себя совсем. Потом чахнул, чахнул, да вот недели две как и умер». Было у него предсмертное желание: «просил, чтобы ему в гроб положили какую-то землю, что была у него в платке завязана; а платок шелковый, красный платок, просил положить ему под голову». Нам хорошо понятно, что это была за «какая-то земля» и чей был платок. Но для церковников это было подтверждением того, что он «еще-таки от суеты не избавился», а «как закон запрещает иноку такие прихоти, то мы и не исполнили его, грешного, желания».

Трудно назвать другую повесть Квитки, которая вызвала бы столь одобрительные и даже восторженные отклики, как «Маруся». Правда, вначале такое мнение не было единодушным. Первый рецензент «Малороссийских повестей» И. Мастак (О. М. Бодянский) оценил ее весьма сдержанно: «Она чрезвычайно растянута и загромождена описаниями. Зачем столько быть неумерену в них. Все хорошо у места и во время. <…> Как бы то ни было, в Марусе при всех недостатках, есть места истинно прекрасные, набросанные художническою кистию; таковы: описание свадьбы Марусыной подруги; разговор Маруси с Васылем на пути в город и обратно; их обручение; болезнь и погребение Маруси, особенно последнее»[60].

Но действительно достойную оценку она получила, когда была переведена и стала достоянием русского читателя. Об отношении к ней Белинского уже было сказано. Она произвела

такое впечатление на Шевченко, даже через несколько лет после того, как он мог с ней познакомиться, он писал Квитке: «Не оставьте же, любите меня, как я вас люблю, ни разу не видев. Вас не видел, а вашу душу, ваше сердце так вижу, как, может, никто на всем свете. Ваша „Маруся“ так мне вас рассказала, что я вас насквозь знаю»[61].

Е. Гребинка, выступая против утверждений, что украинский язык якобы пригоден лишь для описаний комического характера, использовал как убедительный аргумент именно эту повесть Квитки, которую ценил как раз за то, что в ней «короткие чувства выражены так удачно, что даже приверженцы этого мнения, собиравшиеся хохотать до упаду при одном имени Маруси, плакали под конец повести»[62].

На появление русского перевода «Маруси» откликнулся Н. А. Полевой в обширном обзоре «Очерк русской литературы за 1838 год», напечатанном в «Сыне отечества». Он не пожалел для нее самых восторженных слов: «Наконец с истинным наслаждением встретили мы в Современнике „Марусю“, повесть, написанную на малороссийском наречии одним из наших русских литераторов, урожденцем Малороссии, скрывающим свое настоящее имя под именем *Грицка Основьяненка*. Не удивляемся, что издатель Современника решился занять этою повестью, прекрасно переведенною с малороссийского на чистый русский язык, большую часть Современника. Маруся – произведение превосходное, рассказ от души, проникнутый тихою задумчивостию, дивно красноречивый в безыскусной его простоте. Это живая картина Малороссии, и мы ничего еще на русском языке подобного не читывали <…> Читайте же Марусю и заметьте, что в ней нет ни одной натянутой фразы, почти нет происшествий, и между тем это так хорошо, как народная песня, как неукрашенная искусством природа благословенной Малороссии и – мы готовы еще двадцать сравнений, чтобы выразить только, как хороша эта Маруся! Как превосходны характеры героев повести, как трогательны подробности и как все это верно с природы между тем! Грицка Основьяненка, после его Маруси, мы ставим в число наших замечательных современных писателей»[63].

Неизвестный нам рецензент «Козырь-девки» не той повестью восхищался, которая обозначена в названии его рецензии, а «Марусей». «Его „Маруся“ – писал он, – в своем роде такое же совершенство, как и всякое из бессмертных созданий чудной Древности»[64].

В 1844 г. Иер. Галка (Н. И. Костомаров) напечатал в альманахе «Молодик» «Обзор сочинений, писанных на

малороссийском языке», где значительное внимание уделено женским образам в повестях Квитки и ведущее место среди них также занимает Маруся. Он писал: «Эта столь поэтическая Маруся ничуть не идеал: она обыкновенная в быту малороссиянка; вы можете много увидеть таких Марусь и, может быть, ни одной не узнаете <…> Но автор раскрыл перед вами ее душу, ввел вас в таинственный мир, и вы изумляетесь обилию неисчерпаемого чувства, которое было от вас закрыто. <…> А откуда это изящество характера Маруси? Оно истекает из ее исторической жизни. Маруся – это малороссиянка древнего века, живущая в новом. <…> Но при всем превосходном изображении характера Маруси, при всех прекрасных описаниях, трогательных и увлекательных сценах – одним словом, при всех неотъемлемых ее достоинствах, мы должны заметить, что она имеет большие недостатки. Характер Василя не ясен и даже не естествен; в нем не видно такого простодушного чувства, как в Марусе – он сентиментален, и самое удаление его в монастырь не производит сильного эффекта. Характеры Наума, отца Маруси, и матери ее также не отличаются резкими чертами. В отделке нет художественности: иное растянуто, другое не досказано»[65].

А еще через четверть века «Маруся» стала одной из тем ожесточенной полемики между П. А. Кулишом и М. А. Максимовичем. Возникла она в связи с тем, что Кулиш, по мнению Максимовича, недооценивал Гоголя, чем и была вызвана серия его статей «Оборона украинских повестей Гоголя». Эти вопросы не соотносятся с нашей темой, и мы не будем в них углубляться. Но Максимович, человек по складу характера очень эмоциональный, стремился пользоваться любым случаем, чтобы оспорить оценки Кулиша и подвергнуть их критике. Это стремление и побудило его написать статью «Трезвон о Квиткиной Марусе». Написана она была, согласно авторской помете, 26 октября 1861 г., но опубликована в журнале «Киевская старина» лишь в 1893 г.

Нельзя сказать, что расхождения обоих литераторов в оценке повести Квитки имели принципиальный характер: и тот и другой оценивали ее положительно. Но раздражение, клокотавшее в душе Максимовича, изыскивало любую возможность, чтобы хоть в чем-то, хоть как-то возразить Кулишу. На замечание Кулиша, что другие повести «мы читали *смакуючи*, а Марусю *плачучи*; так тут уже хоть и не кажи, що нам роднейшее», он откликается так: «Отчего же: *хоть и не кажи*? Разве Квиткина Маруся оттого нам *роднее,* что мы ее читали *плачучи?* Много слез было пролито и в Малороссии – от чувствительных повестей Карамзина, от разных трогательных сцен из Театра Коцебу; но через эти наши слезы –

ни карамзинщина, ни коцебятина не сделались нам *роднее* нашей смехотворной котляревщины, которую и теперь еще помнят наизусть старосветские украинцы и даже украинки. Квиткина „Маруся“ так прекрасна, что не с чего было отвертаться от нее и самым благовоспитанным малороссиянкам; им-то собственно и читать ее, *смакуючи* и *плачучи*»[66].

Он напоминает, что уже через несколько недель после выхода «Малороссийских повестей» появилась «в журнале Московского университета» рецензия О. М. Бодянского, в которой отчетливо изложил он свое мнение о достоинствах и недостатках этих трех повестей и воздал Квитке достойную хвалу, как «первому *прозаику* в новой словесности малороссийской», и что «было Квитке великое внимание и от журналов петербургских, начиная с „Современника“, поместившего в 1837 году его „Солдатский Портрет“ в русском переводе г. Даля»[67].

Позиция Максимовича была непоследовательной и даже недостаточно внятной. Он то превозносит «Марусю», то упрекает Кулиша в переоценке этой повести: «Очарованный Квиткиною „Марусею“ г. Кулиш…», «А у г. Кулиша в виду все Квиткина „Маруся!“». Остается впечатление, что главным для него было – оспоривать Кулиша. При этом он пытался опереться на авторитет Шевченко, но неудачно. Шевченко, по его утверждениям, «не в Марусе и не в других Малороссийских повестях Квиткиных находил <…> Украину со всеми ее дивами, и не таких повестей от Квитки желал Украинский певец», а желал он «того именно, чего не было в Малороссийских повестях Квитки, к чему не было и призвания у нашего старого повествователя»[68]. Все это, конечно, чистые домыслы, свидетельствующие лишь о плохой осведомленности Максимовича: мы располагаем достоверными подтверждениями того, что Шевченко положительно оценивал и «Малороссийские повести» Квитки в целом, и «Марусю» в особенности. К сожалению, когда писалась статья Максимовича, Шевченко был уже мертв, что исключало его участие в развернувшейся дискуссии.

Вместе с «Марусей» в первом выпуске «Малороссийских повестей» Квитка поместил еще две вещи, резко контрастирующие с ней по тональности: «Солдатский портрет» и «Праздник мертвецов». Обе они получили одобрительную оценку первого рецензента «Малороссийских повестей» О. М. Бодянского, в эмоциональности которой явно дало себя знать что автор был украинским поэтом и филологом, внесшим значительный вклад в изучение украинского языка. Рецензия его завершалась прямо-таки здравицей Квитке: «Хвала Пану Грыцьку, первому так смело и так живописно ворвавшемуся на лихом украинском коне в

область ныне всеми любимого повествовательного рода»[69].

«Солдатский портрет» особенно дорог Бодянскому, он ощутил в нем сокровенно близкое и родное. Эта повесть «так в духе малороссийском, что ее можно считать оригинальным произведением: простота, естественность рассказа, полнота, в целом правильное соотношение между частями, живые, яркие, свежие картины, веселый юмористический тон, меткие, остроумные намеки, как бы нечаянно, мимоходом сделанные, быстрота переходов, искусные отступления, постоянная заманчивость одной группы перед другою, правильный, чистый большей частию язык и многие удачно схваченные у народа обороты и выражения: все это составляет неотъемлемые достоинства сей прелестной повести Пана Грыцька»[70].

«Солдатский портрет» имел в сборнике малороссийских повестей подзаголовок «Латинска побрехенька по нашому розказана». Считается, что определение «латинская» должно было вызвать в памяти известное изречение Апеллеса «Ne sutor supra crepidam» («Пусть сапожник судит не выше сапога»). Отзвук этого изречения можно услышать в одном из эпизодов, но в целом следует признать, что оно слабо соотносится с содержанием повести. Да и вряд ли оно играло для Квитки существенную роль. При первой публикации в харьковском альманахе «Утренняя звезда» было просто «Побрехенька». Несмотря на свое происхождение от слова «брехать», «побрехенька» – это не обман всерьез, а болтовня, балагурство, вызывающие к себе скорее добродушное отношение, некий аналог русской жанровой дефиниции «небылица», но с существенной долей юмора, присущего малороссийской словесности.

Однако если вспомнить, как многократно и настойчиво Квитка подчеркивал, что в такой-то повести нет никакого вымысла, в ней изображены события, которые действительно имели место и могут быть подтверждены очевидцами, станет ясно, что этот подзаголовок подобран не случайно: с его помощью автор наперед предупреждал читателя, как должно восприниматься его произведение.

Но самое важное, что эта побрехенька «по нашому розказана», не просто написана «на малороссийском наречии», но рисует украинские характеры, несет на себе отпечаток украинской народной морали, национальных понятий и пристрастий. Не подлежит сомнению, что писатель придавал этой вещи существенное значение. Прежде чем открыть ею первый сборник своих малороссийских повестей, он тщательно переработал ее первый вариант, помещенный лишь годом ранее в альманахе «Утренняя звезда».

Сюжет повести так бесхитростно прост, что его и пересказать нелегко. Какой-то пан заказал «маляру» (слово это здесь означает «художник», оно произведено из украинского «малювати», что значит «рисовать») нарисовать портрет солдата, который был бы так похож на живого, что своим видом разгонял бы воробьев. Выполнив заказ, «маляр» повез портрет на ярмарку, чтобы посмотреть, будут ли люди принимать нарисованного солдата за живого. Успех был полный: с солдатом заговаривали, угощали его, предлагали ему свои услуги, снимали перед ним шапку, желали доброго дня.

Конечно, мы имеем дело с очевидной гиперболой: не могли люди нарисованного солдата принимать за живого. Но потому Квитка нас и предупредил, что это «побрехенька». А настоящая, высокая правда – не в этих шутливых эпизодах, а в воссозданных писателем картинах украинского быта и украинских характеров.

Почти все художественное пространство повести отдано описанию ярмарки, и главное в ней – тональность, в которой выдержано это описание. Все здесь дорого автору, все пронизано не просто его сочувствием, но и восхищением, вызванным тем, что все здесь – это любимая им и дорогая ему Украина. Он любуется обилием продуктов и товаров, в котором ему видится достаток ее жителей. Хлеба всякого «видимо-невидимо! коли так сказать, что подвод с двадцать тут было – так ей же Богу моему что больше! Туча тучей. Тут и рожь, и овес, и ячмень, и пшеница, и гречиха – все, все было». Торговки наперебой расхваливают свой товар: «поди сюда, дядюшка; возьми у меня; вот бублики горяченькие с мачком; вот сайка легонькая <…> А за ними гуськом частили с пирожками, с вареным мясом, с гусаками, с гороховиками и со всякими лакомствами, чего только душа пожелает… <…> Всякий товар и чего бы ты ни вздумал, все есть! Груш ли? так и возами груши, и в мешках груши, и кучами груши, приди, торгуй, сколько кому надо, да с которой кучки хочешь и сколько тебе угодно бери и пробуй; никто тебе не закажет… были у них и чашки, лоточки, писаные деревянные тарелки; были и решета, лотки, кадки, пересеки, лопаты, сеялки; башмаки, сапоги с подковами, и немецкие, только одними гвоздочками подбитые: тут и суздальцы, с картинами, да с книжками завалящими; а рядом с ними сидит сластёница, что пыжки печет, с печкою; только спроси, на сколько тебе там надо сластёных, так она живо подымет пелену да сыпет старую онучу, что горшок с тестом накрыть, чтобы, знаете, тесто на холоде не стыло <…> А тут уже пойдут лавки с красным товаром для господ: стручковатый перец на нитках, изюм, винные ягоды, лук, всякие сливы, орехи, мыло, свечи, тарань-рыба, еще весною с

Дону привезенная, и провесная и соленая; икра, сельди, опойки, выростки, ножи, булавки, иголки, крючки, застежки, и для нашего брата свинина. Дёготь и в шеритвасах и в мазницах – да продавались тут и помазки. А рядком, подле, стояли бублики, буханцы, гороховики, гречаники, а в лотках разносили печенку на ломти порезанную; на сколько тебе надо, на столько и бери. А там, пучками капуста, свекла, морковь огородные – а домашней бабы наши не продают, берегут про нужду, напасть голове, ну ее!.. <…> говорю, нет того на свете, чего бы не было на этой ярмарке; и кабы только денег вволю, так накупил бы всего да и ел бы себе круглый год! А что еще ободьев, колес, оглобель, а там еще и свиты, простого красовского и мыльного сукна; были и тулупы, всякие поясы. шапки и казачьи треухи; был и девичий товар: стряпки, скиндячки, по-нашему ленты, широкие, что голову повязывают, и узенькие, что заплетают в косы; серьги, байковые юбки, плахты, шитые рукава и платки; охапки бабьи, запаски, кораблики, утиральники, шитые и с городками; щитки, гребни, днища, веретена, соль толченая, глина желтая, запанки оловянные, перстни, башмаки. Ух, аж-да уморился, рассчитывая да рассказывая все это; чего-то там ни было!»

Мы ничего не поймем в Квитке вообще и в этой его повести в частности, если сочтем, что эти так детально и старательно выписанные картины представляют собой некий фон, на котором разыгрывается основное действие. Нет! Не анекдотическое происшествие – как нарисованного солдата принимают за живого, а потом разбираются, что обманулись, – а сами эти картины украинской ярмарки и характеров ее посетителей – они и есть главный предмет изображения. Это некий восточнославянский аналог фламандской живописи, то же буйство красок, мобилизованных вдохновением художника, чтобы выразить черты и особенности народной жизни, мощное жизнеутверждающее чувство любви к родной стране, восхищения ее нравами и обычаями ее народа, ее вольнолюбивых традиций, красотой людей, щедрой природы и ее обильных даров.

Особый предмет изображения – люди. За единичными исключениями у них нет имен, но их объединяет общность нравов, пристрастий, манеры поведения. «Вот и девки собрались идти по ярмарке, а все, вишь, поджидали, чтобы поменьше народу стало: а то, в толпе, в тесноте, думали, что и не так их видно будет. Вот и потянулася низка их, да все на подбор; одна одной лучше, одна одной чернобровей! Разоделись, так что господи! Солнышко, среди дня, пригрело, так оно и тепленько стало; вот они и выскочили без свиток, в одних байковых, алых юпках, словно мак цветет! ленты на головах по-харьковски повязаны,

косы в плетушки заплетены и желтыми гвоздиками да барошиком разубраны; у сорочек и рукава и пидлегки да городками разукрашены; на шеях намыста, пронизей ниток с десять у каждой, коли не больше, только голову гнет; золотые дукаты, да серебряные кресты так и горят; плахты картацкие, запаски шелковые и колесчатые, пояса колемянковые: да все одна в одну, в красных башмачках, да в синих либо в белых чулочках. А за делом же они и вышли? А как же? За позевками, за поглядками, да не побалуют ли с ними молодые ребята. Уж известна девичья натура, хоть в барстве, хоть в мужицтве!»

Разобравшись с девками, писатель переходит к юношам, которых на украинский манер именует «парубоцтвом»: «То подходило парубоцтво, холостеж; сапожники, портные, кузнецы, гончары и разных званий и ремесл молодежь, удалые, наемные у хозяев работники, батьковы дети, собравшиеся на ярмарку погулять. Кто с утра еще, продав свой товар, либо купивши что кому надо было, да запивши могорычи, подбрились порядочно, и приоделись – кто в новую свиту, кто в китайчату юбку, кто в отцовский – хоть и старый – да жупан; подпоясались хорошенько, кто каламянковым, а кто и шерстяным кушаком: в тяжиновых шараварах, надели на подбритые головы казачьи шапки из решетиловских смушек, с алыми, зелеными либо синими верхами; в смазных, юфтовых сапогах, с подборами, а кто и в конёвьих, да так вымазанных, что дёготь с них так и течет; а подковы чуть ли не в четверть; да, закрутивши усы, идут себе лавою, с боку на бок переваливаются, руками машут, трубки тянут, да во всю глотку, ан-да жмурятся, да корчатся, орут московские песни. И где идут, то так перед ними народ и расступается; и уже не попадайся им на дороге никто; хоть торговка с коробами, хоть москаль с квасом, хоть слепцы, нищие с вожатым, хоть старуха, хоть молодица им навстречу, не разбирают никого; так на всякого прямо лавою и напирают, и прут, и мнут, и с ног валяют; а сами – и нужды мало; будто и не видят никого и ничего, будто это и не они!»

Мастерское изображение украинского быта и украинских характеров и обусловило тот факт, что эту повесть так восторженно оценил великолепно знавший и любивший Украину О. Бодянский. Отметив, что Украина, бывшая «колыбелью Руси», оставалась пока весьма бедна «относительно прозы», он так завершил свой анализ «Солдатского портрета»: «…Простота, естественность рассказа, полнота в целом, правильное соотношение между частями, живые, яркие свежие картины, веселый, юмористический тон, меткие, остроумные намеки, как бы нечаянно, мимоходом сделанные, быстрота переходов,

искусные отступления, постоянная заманчивость одной группы перед другою, правильный, чистый большей частию язык и многие схваченные с натуры обороты – все это составляет неотъемлемые достоинства сей прелестной повести Пана Грыцька»[71].

Несмотря на очевидную шутливую тональность, в которой написан «Солдатский портрет», роль этого произведения в творческой биографии Квитки совсем не шуточная. На него обратил внимание В. И. Даль, перевел его на русский язык и опубликовал в «Современнике». Это был первый перевод повести Квитки на русский язык, и он сразу привлек внимание В. Г. Белинского, оценка которым «Солдатского портрета» положила начало его многочисленным позднейшим откликам на произведения Квитки.

Критик писал: «Из прозаических не пушкинских статей особенно замечательна: „Солдатский портрет“ Грицьки Основьяненка, прекрасно переведенный с малороссийского г. Луганским. Так-то лучше: а то мы, москали, немного горды, а еще более того ленивы, чтобы принуждать себя к пониманию красот малороссийского наречия, если дело идет не о народной поэзии. Ведь Гоголь умеет же рисовать нам малороссиян русским языком? Уверяем почтенного Грицьку Основьяненка, что если бы он написал свои прекрасные повести по-русски, то, несмотря на мудреную для выговора фамилию своего автора, они доставили бы ему гораздо бóльшую известность, нежели какою он пользуется на Руси, пиша по-малороссийски»[72]. Позволим себе утверждать, что этот призыв был услышан Квиткой, и именно забота о том, чтобы его повести получили бóльшую известность, обусловила его деятельность по переводу их на русский язык.

Письмо Квитки к Плетневу от 7 января 1839 г., в котором содержалась благодарность за публикацию «Солдатского портрета», положило начало их оживленной переписке, продолжавшейся практически до смерти писателя. Письма Плетнева к Квитке не сохранились, но письма Квитки были в 1920-х гг. разысканы и опубликованы И. Я. Айзенштоком[73], позднее не раз переиздавались в собраниях сочинений и стали одним из важнейших источников сведений о творческом пути Квитки.

Известно, что в 1842 г. Квитка опубликовал собственный перевод «Солдатского портрета», который также вызвал заинтересованный отклик Белинского. Отметив, что мы уже читали это произведение и по-малороссийски и в переводе Даля, критик заключил: «Впрочем, эта повесть – решительно лучшее произведение г. Основьяненко, и мы прочли ее с прежним

удовольствием»[74].

Н. Л. Юган, сопоставившая оба перевода, пришла к такому выводу: «В. И. Даль делает перевод ближе к первоисточнику. Он старательно ищет русские эквиваленты украинских слов и устойчивых словосочетаний, добиваясь сохранения оригинального стиля малороссийского рассказчика. У Квитки же перевод вольный. Автор не стремится выдержать разговорность интонаций, эмоционально окрашенные слова и выражения не сохраняет, а заменяет стилистически нейтральными единицами»[75]. Добавим к этому от себя, что Даль, по-видимому, очень заботился о том, чтобы не утерять украинский колорит повести, а Квитка был убежден, что он и без особых усилий никуда не денется. Как бы то ни было, по нашим наблюдениям, в переводе Даля больше украинизмов, чем в переводе Квитки.

«Праздник мертвецов», посвященный, к слову сказать, именно «Казаку Владимиру Луганскому», – одна из самых коротких повестей сборника: всего полтора десятка страниц, и происходящее на их протяжении даже трудно назвать сюжетом. Был себе муж да жена. Мужа звали Никифором, а жену Приською. Никифоров отец был большой бездельник, спился да свелся ни к чему. «Недаром говорят: недалеко откатилось яблочко от яблони: у Никифора была вся натура отцовская. Воряга такой, что ни с чем не расстанется, и цыгана проведет и нищего обкрадет. А пить? Так не перепьет его и Данилка, вот что у того барина, что подле нас живет да что за его каретою на запятках трясется в изукрашенном кафтане да в обшитой шляпе, как тот вареник свернутой. Тот ужасно пьет, а Никифор еще и горше его!»

В такой же безыскусной тональности ведется все повествование: как пропил Никифор все свое хозяйство, как выкупала его Приська из-под караула да из острога, как била его, чтоб отворотить от горелки. И вот случилось невиданное: обступили его мертвецы. Стоит перед ним Охрим Супоня, что еще прошлого года умер, Юхим Кандзюбенко, что умер после побоев на вечерницах. «Оглянулся туда, и там мертвецы, оборотится сюда, и тут мертвец; куда ни глянет, все мертвецы, все мертвецы, такие, что и недавно померли, и такие, что он их едва помнил…» Общался он с ними, как с живыми, но… «Шарах! Рассыпалися наши мертвецы, и кости загремели, как будто кто мешок медных денег высыпал!..

Смотрит Никифор… Нет ни отца Никиты, ни пана дьяка, ни старых, ни молодых, ни девок, ни парубков… Остались на кладбище одни могилы, как и вчера были». Как и у современников Квитки: у Гоголя, у Владимира Одоевского, фантастичность сюжета лишь острее оттеняет правду быта, а у

Квитки именно малороссийского быта, который он так досконально знал и так любовно воспроизводил. Писатель приводил этот бесхитростный, по существу бессюжетный рассказ как пример того, что местное, т. е. малороссийское в русское не оденешь. «Это легенда, местный рассказ, ежегодное напоминание в семье на заговены о „Терешке, попавшемся к мертвецам с вареником“. Рассказанное по-нашему, как все передают это предание, нравилось, перечитывали, затверживали. Перешло в русское – и вышло ни то ни се…»[76] В другом письме он характеризует «Праздник мертвецов» как «простонародное предание, из рода в род передаваемое»[77]. И действительно, повесть насыщена фольклорными оборотами, пословицами, фразеологизмами: «недалеко откатилось яблочко от яблони», «без подпалки и дрова не горят», «за битого двух небитых дают», «горбатого и могила не исправит», «часом с квасом, а порою с водою» и т. п.

Нельзя, однако, не видеть, что это предание писатель умело насыщает реальным содержанием. Сцена, когда Приська нещадно лупит мужа в надежде отучить его от пьянства, отражает его знание крестьянских нравов. Находят себе место и социальные мотивы: описания жульничества и взяточничества уездных чиновников, «благоденствие» мертвецов на том свете, где барщины нет, за подушные не тянут, атамана слыхом не слыхать. Мертвецы отстаивают равенство: «Нет никакого старшого! И все мы тут равны! Прошло панство!», проповедуют сложившееся в народе вековое представление о справедливости: «…все нищим подавали, да бедных снабжали, да с неимущим последним куском хлеба разделялися <…>…вынимай свой гостинец, да смотри, чтоб ты поделил его на части; чтоб каждому, сколько нас тут есть, чтоб всякому достало: и старому и малому, всем поровну, и чтоб ни одному ни больше, ни меньше. Когда же не разделишь хорошо, что кому-нибудь не станет, или кому больше, а иному меньше будет, то тут тебе и аминь! Таки вот тут тебя и разорвем на маленькие кусочки. Вот что».

Повесть вызвала полное одобрение О. М. Бодянского, причем именно теми достоинствами, которые он усмотрел в «Солдатском портрете» и которыми оба эти произведения были несходны с «Марусей». Он отметил, что она «тоном своим сходна с первою (т. е. с „Солдатским портретом“. – *Л. Ф.*). Та же веселость, тот же юмор, то же простодушие и замысловатость, та же вкрадчивость в душу, та же быстрота и бойкость в рассказе, тот же истинно народный язык. Можно наверное сказать, что Пан Грыцько решительным талантом обладает для повестей в духе веселом, насмешливом, комическом»[78].

Хотя «первая книжка» «Малороссийских повестей» Квитки вышла в Москве, повести эти были напечатаны на украинском языке, или, как чаще говорили в ту пору, на малороссийском наречии. Это был, конечно, не тот украинский язык, на котором они печатаются в наши дни, и чтобы современный читатель получил хоть какое-то представление о том, каким увидели их современники Квитки, приведем несколько начальных строк первой повести: «Був соби колись то, якийсь то маляр… ось на уми мотаетца, як ёго звалы, та не згадаю… Ну, дарма; маляр, та й маляр. И що був за скусний. Там морока ёго зна, як то гарно малёвав! Чы вы братикы, що чытаете, або слухаете, сюю кныжку, думаете, що вин так малёвав соби просто, абы як, що тилки розмиша краску: чы червону, чы бурякову, чы жовту, та так просто й маже чы стил, чы скрыню. Э, ни; трывайте лишень! – такы що вздрыть, так з нього патрет и вчеше; хоч бит оби видро, або свыня, такы жывисенько воно не тилкы посвистыть, та й годи!»

Решение издавать эти произведения именно так было для Квитки принципиально важным, вопросы языка он неоднократно и детально обсуждал в письмах, особенно в письмах к Плетневу. С языком он связывал самые коренные проблемы: создания и правильного понимания своих произведений: «Живя в Украине, приучася к наречию жителей, я выучился понимать мысли их и заставил их *своими словами* пересказывать их публике. Вот причина вниманию, коим удостоена „Маруся“ и другие, потому что писаны с натуры, без всякой прикрасы и оттушевки. И признаюся Вам, описывая „Марусю“, „Галочку“ и проч., не могу, не умею заставить их говорить общим языком, влекущим за собою непременно вычурность, подбор слова, подробности, где в одном слове сказывается все. Передав слово в слово на понятное всем наречие, слышу от Вас и подобно Вам знающих дело, что оно хорошо; не я его произвел, а списал только»[79]. «Наречие жителей», выучившись которому только и можно понимать их мысли, – это украинский язык, а «общий язык» и «понятное всем наречие» – это язык русский.

Еще яснее и определеннее развиты те же мысли в письме от 15 марта 1839 г. «По случаю, был у меня спор с писателем на малороссийском наречии. Я его просил написать что-то серьезное, трогательное. Он мне доказывал, что язык неудобен и вовсе не способен. Знав его удобство, я написал „Марусю“ и доказал, что от малороссийского языка можно растрогаться <… > Известность моих сказок разохотила здешних переложить их по-русски, точно, как Вы желаете. Слушаем в чтении; и что же? Малороссы, не узнаем своих земляков, русские… зевают и

находят маскерадом; выражения – не свойственные обычаям, изъяснения – национальности, действия – характерам, мыслящим по-своему, и брошено, хотя, правду сказать, перевод был сделан и вычищен отлично. Я предложил свой перевод, буквальный, не позволяя себе слова сместить, и найден сносным, но не передающим вполне (ну, право) красот малорусских оборотов. Такой перевод „Маруси“ и проч. дошел к Вам от Василия Андреевича <…> Так же точно Вы видите, что я не могу по-нынешнему писать – очищенным слогом, подобранными выражениями – всегда буду сбиваться на свой тон, малороссийский. Следовательно, не беруся исполнить по совету Вашему, внушенному добрым Вашим ко мне расположением. При всем усилии, при всем старании, буду влезать на ходули и, от неумения управлять, зашатаюсь и упаду. Зачем же приниматься за то, что выше сил? Притом, почтеннейший Петр Александрович, потрудитесь вникнуть в видимую разницу наших – ну именно языков русского и малороссийского: что на одном будет сильно, звучно, гладко, то на другом не произведет никакого действия, холодно, сухо. В пример „Маруся“: происшествие трогательно, положение лиц привлекает участие, а рассказ ни то ни се, – я говорю о русской, – как, напротив, малороссийская берет рассказом, игрою слов, оборотами, краткостью выражений, имеющих силу. Малороссийская „Маруся“ не смертию интересует, но жизнию своею. „Ні, мамо!“, „атож“, „але!“ – у места сказанное в русское слово этого не оденешь. Пример Вам: „Праздник мертвецов“. Это легенда, местный рассказ, ежегодное напоминание о семье на заговены о „Терешке, попавшемся к мертвецам с вареником“. Рассказанное по-нашему, как все передают это предание, нравилось, перечитывали, затверживали. Перешло в русское – и вышло ни то ни се, повод журналисту трунить, чего я ожидал при прочтении ее в Вашем журнале»[80].

Не подлежит сомнению, что именно страстное стремление Квитки сохранить украинский колорит, самый дух украинского языка подтолкнули Квитку на то, что при автопереводе своих повестей на украинский язык побудили Квитку обратиться к совершенно необычному приему: он сохраняет в переведенном тексте украинское слово и здесь же дает в скобках его русский эквивалент. И такие случаи не единичны, их насчитываются многие десятки.

Другой аспект той же проблемы стал предметом острой заинтересованности Квитки в его письме к Краевскому от 25 октября 1841 г.: «Трудно уверить десятки миллионов людей, на своем языке говорящих, пишущих, читающих с наслаждением, трудно людям, не знающим того языка, уверить их же, что они не

имеют его. Зачем же издаются книги? Требуют второго, третьего издания? Все могущее старается (разумеется, из наших) писать по-нашему. Надобно судить на месте, увидеть все, что делается здесь, и тогда увериться в своем или противном мнении. <…> Надо бы противникам нашего языка последить бы на месте появление книжки на малороссийском языке. Повторю: отчего возобновляются издания тех же книг? Язык, имеющий свою грамматику, свои правила, свои обороты в речи неподражаемые, неизъяснимые на другом; а его поэзия? Пусть попробуют передать всю силу, все величие, изящность на другом! То-то же»[81].

Не вызывает сомнения, что Квитка писал все это необыкновенно взволнованным, в состоянии крайнего эмоционального напряжения, отсюда торопливость отдельных формулировок, порой не согласующихся друг с другом. Главная мысль ясна и очевидна: характеры украинцев, обстоятельства их жизни и быта могут быть полноценно воссозданы только на украинском языке. Но очень важно, как выражена и аргументирована эта мысль. Первопричину Квитка усматривает, что достаточно спорно, в самих отличиях русского языка от украинского: что на одном сильно, звучно, гладко, то на другом холодно и сухо. В результате малороссы не узнают себя даже в таком переводе, который сделан и вычищен отлично. Лишив произведение малороссийских оборотов, писатель обречен влезать на ходули, которыми не в состоянии управлять. Малороссийское по природе в русское слово не оденешь: рассказ ни то ни се.

Высоко оценивая «Солдатский портрет», который «прекрасно передан уважаемым мною В. И. Далем», Квитка не воздерживается от того, чтобы указать, что в его переводе «есть выражения, не так изъясняющие мысль и изменяющие понятие о действии. Все это – от неизвестности местности и обычаев»[82]. К слову сказать, именно Даль оставил в высшей степени интересные соображения о соотношении украиноязычного и русскоязычного Квитки. 31 мая 1854 г. он послал письмо Г. П. Данилевскому, который опубликовал его в неоднократно упоминавшемся выше биографическом очерке о Квитке в «Украинской старине».

Поскольку эта публикация неполно и неточно передает текст письма, приводим его фрагмент, посвященный Квитке, по автографу, находящемуся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге: «С *Квиткой* я переписывался около 1836 года; он посвятил или надписал мне одну из сказок своих, как Вам известно из печатных его сочинений, – это было первым поводом; за тем, он же прислал мне тетрадку, с тремя сказочками, о коих Вы упоминаете. Они

были записаны им наскоро, не отделаны и не для печати.

Я думаю, что Квитка один из первых и лучших рассказчиков – на родном наречии своем; а с тех пор, как Петербургские Западники успели сбить его с толку и уверить что он *обязан* писать по-русски – с той поры он ослаб и упал. Писатель, как Квитка, мог бы ожидать, что великорус выучится понимать его, если оценит и захочет читать; но, конечно, уже ни один читатель не вправе требовать, чтобы писали исключительно на том языке, который ему понятнее. Это нелепое требование, высказанное повелительно в тогдашних журналах и в частных сношениях с сочинителем, заставили его однако же уступить, к прискорбию всех беспристрастных ценителей. Многословная болтовня его, на природном языке, всегда простодушна и умна; на русском же нередко пошловата. Как быть; доколе писатели во французских крысьих перчатках, в раздушенных завитках, чопорно охорашиваясь, будут старательно изъясняться подбором французских слов и оборотов, придавая им только по наружности русский вид, дотоле русское слово не будет облагорожено. По мне, уж пусть бы лучше припахивало сырьем да квасом, лишь бы в нос не шибало»[83].

Об утратах, возникающих при переводах произведений Квитки на русский язык, горевали и другие его современники. Так Л. Л. <В. Межевич> в рецензии на постановку «Шельменко-денщика» писал: «Жалею вас: вы не знаете Грицька Основьяненка! Если вы читали его в переводах на чистый русский язык, для вас потеряна половина той прелести, какой исполнены его малороссийские рассказы»[84].

Если бы упомянутые эмоциональные всплески исчерпывали собой творческую позицию Квитки по данному вопросу, то он не влезал бы на ходули и не переводил бы свои повести на русский язык. Между тем его автопереводы – это не некий эпизод, а в высшей степени значимая полоса его творческой биографии. Он перевел на русский язык большее количество своих произведений, чем все другие переводчики вместе взятые. И хотя неоспоримо, что даже совершенные переводы, как правило, уступают оригиналам и известные утраты при переводах неизбежны; отдавая им вдохновение и творческие силы, он, видимо, был убежден, что нечто самое сокровенное они доносят до русского читателя. Он считал – и был в этом совершенно прав, – что его глубокое знание малороссийских характеров и обычаев, способность ощутить и сберечь красоту малороссийских оборотов дают ему заметное преимущество перед другими переводчиками, даже такими выдающимися, как Даль.

Несколько позже, 3 октября 1839 г. Квитка вновь затронул

вопросы языка в письме к М. А. Максимовичу. С Максимовичем ему было легче объясняться, чем с Плетневым, который был русским и с которым в какой-то степени приходилось дипломатничать. С ним он говорил о «наськiй мовi», т. е. о «нашем», общим для них обоих языке. Поддерживая идею издания «на малороссийском языке», Квитка писал: «Мы должны пристыдить и заставить умолкнуть людей с чудны5 м понятием, гласно проповедующих, что не должно на том языке писать, на коем 10 миллионов говорят, который имеет свою силу, свои красоты, неудобоизъяснимые на другом, свои обороты, юмор, иронию и все как будто у порядочного языка»[85].

Убеждение в выразительных возможностях украинского языка отразилось и в статье Квитки «Обращение к господину издателю», которое служило предисловием к его повести «Солдатский портрет», где писатель выступал и против тех, кто отрицал возможность украинской литературы, и против бурлескного эпигонства: «Есть такие люди на свете, которые насмехаются над нами и говорят, да и пишут, будто бы из наших никто не создает ничего такого, что было бы, как они говорят, и обычным, и нежным, и умным, и полезным, и что, стало быть, по-нашему, кроме брани и насмешек над дураком больше ничего нельзя и написать»[86].

Автопереводы повестей Квитки были темой диссертации А. М. Финкеля «Г. Ф. Квитка-Основьяненко как переводчик собственных произведений», защищенной в Харьковском университете в 1939 г.[87] Автор диссертации впервые установил объем автопереводческой деятельности Квитки. Дело в том, что некоторые из его переводов появлялись в печати под псевдонимом «В. Н. С.». А. М. Финкель доказал, что за этим псевдонимом укрывался сам автор, и теперь мы знаем, что Квитка перевел на русский язык не менее чем восемь своих повестей: «Маруся», «Праздник мертвецов», «Делай добро, и тебе будет добро», «Конотопская ведьма», «Вот любовь!», «Божьи дети», «Сердешная Оксана» и «Солдатский портрет».

Как уже говорилось, Квитка выпустил две «книжки» «Малороссийских повестей». В каждой из них по три повести, причем второй в обоих сборниках идет как бы главное произведение, превышающее по объему первую и третью повесть вместе взятые. В сборнике 1834 г. такое место отведено «Марусе», которая принадлежала к любимым произведениям Квитки и чаще других упоминалась в его письмах. В сборнике 1837 г. аналогичное, «срединное» место занимает «Конотопская ведьма».

Косвенное подтверждение того факта, что мы имеем дело не со случайностью, а с продуманным творческим актом, мы

находим в письме Квитки к Плетневу от 3 марта 1840 г. Рассуждая о возможности издания всего им написанного «выдачами», он в одной книжке предполагает напечатать «Халявского», «во 2-й – „Марусю“ и еще что-то, в 3 – „Ведьму“ и так далее, сортируя одно к другому»[88]. Таким образом, «что-то» «сортировалось» вокруг головной вещи, в роли которой выступала в одном случае «Маруся», в другом – «Конотопская ведьма».

2

Открывалась вторая книжка «Малороссийских повестей» повестью «Делай добро, и тебе будет добро». В сущности это не столько повесть, сколько притча. Единственный раз Квитка возвысил назидательную, поучающую функцию своего произведения настолько, что вложил ее в формулировку самого названия. Естественно, и вся его структура подчинена той же цели.

Морализаторство и поучительный тон не редки в повестях Квитки, но мало где тяга к ним предстает такой откровенной и прямолинейной, как в повести «Делай добро, и тебе будет добро». Стремясь убедить «слушателя» («Послушаем», – говорит он, переходя от обычного для его повестей вводного монолога к тому, что составит сюжет произведения), он предлагает в подтверждение тезиса, сформулированного названием произведения, рассказ о характере и деятельности главного действующего лица – Тихона Бруса.

«Нет, люди добрые! – проповедует Тихон, – когда хотите закон Божий исполнять, делайте добро братьям своим, не думая об анафемском барыше». Когда приходит лихая година, не родится хлеб из-за отсутствия дождей, он призывает: «Кому надобно на семена, чтоб осенью посеять, попросим, чтоб с магазейна отпустили, да и то только беднейшим, а побогаче и на стороне себе достанет». Я, говорит он, «прежде всех отдаю все, что есть в закромах, и что только найдется у меня, все изнесу, только изберите кому отдать». Поддержки он не находит, корят его и близкие и посторонние, но он не отступает: закладывает свое имущество, чтобы раздать деньги нуждающимся.

Прослышав, что в Курской губернии хороший урожай, Тихон отправляется туда и привозит фуры, груженные хлебом.

– А как у тебя, дядюшка, цена будет? – спрашивают у него.

– Какая цена? Как это можно, чтоб я хлеб, что мне Господь безо всего послал, да стал бы я своему брату продавать? Нет, не будет этого. Берите на пропитание из моего домашнего, а купленный будем сеять, как придет время.

В конце концов справедливость торжествует и – что очень важно для правильного понимания характера и взглядов Квитки – торжествует, благодаря мудрому, неподкупному и всевидящему начальству. Сначала это исправник, который, не поверив хуле завистников и недоброжелателей Тихона, установил правду: «бросился сюда-туда, расспрашивает, так все – и что то – и малые дети, и те про Тихона, как про родного говорят, как он всем хлеб

и мукою, кому надо, а кому семенами на посев дает и все без денег, нужды нет, что у него покупной хлеб, а в отдачу, как Бог родит новый; что он и не записывал никогда как давал, что и малым детям каждый день раздает печеный хлеб; да как теперь везде беда, так и чужие, а есть и из дальних мест, как плав, плывут и все к нему, а он всем раздает и всех пропитывает».

Потом исправник отправился к Тихону, выяснить, сколько он издержал, помогая людям, и именно в его уста Квитка вложил формулировку, избранную в название повести. «Исправник писал что-то долго, потом говорит: „Старик, Бог тебя не оставит и на этом свете: пошлет тебе милость свою чрез нашего государя. Делай, как делаешь, и не бойся ничего; и я тебе скажу: „Делай добро, и тебе будет добро! Прощай““.»

Приезжает «генерал с кистями», и выясняется, что он «приехал от самого царя, что царь, пославши-таки везде деньги на хлеб и повелевши раздавать всем с порядком, еще-таки послал и генералов и каждому дал по большой сумме, чтобы так, какого увидят бедного, старого, немощного, калеку, чтоб по рукам на их бедность раздавали, чтоб скорее, кому нужда, помощь подать. Так вот этот генерал заехал в наш уезд и, прослышавши про тихона, хочет ему сколько тысяч отдать, чтоб он, как начал бедных наделять, так чтоб тем же порядком и царские деньги на милостыню раздавал, или, покупая хлеб, хлебом снабжал».

И наконец, появляется добродетельный губернатор, который вышел к громаде и спрашивает: «Где Тихон Брус?» Вот исправник и подвел его. Губернатор взял его за руку, и поставивши подле себя, да и говорит: «Стань здесь, почтенный старичок!» да и дал исправнику бумагу и велел вслух читать… Господи милостивый! Что же то там написано было!

К самому царю дошло до сведения, что в этот голодный год Тихон делал, как старался, как людей пропитывал и как за царскую казну исправно покупал и порядком его всем раздавал; а что наиболее, что сам всего своего имения лишился и все употребил на пропитание людей в своем селе. Так за это все царь прислал ему медаль серебряную, великую, а на ней самое таки настоящее царское лице, и повелевал ту медаль надеть на Тихона на ленте, да широкой, да красной, как обыкновенно бывает кавалерия. Да еще сверх того повелевал из своей царской казны выкупить все имущество, что заложил Тихон, и его, и женино, и детское, и пополнить ему все деньги, сколько он издержал на пропитание людское. <…>

Вот губернатор, надевши медаль, поднял Тихона и поцеловал его в голову и сказал: «Поздравляю тебя, почтенный старичок, с царскою милостью!» Потом велел исправнику все имущество

Тихоново, что тут было уже привезено и из-под залога выкуплено, и деньги, сколько повелено было, отдать все Тихону, а обществу приказать, чтобы все Тихона и уважали, и почитали. А жене приказывал, чтоб не спорила и не бранилась с мужем, и слушала бы его во всем, и детей учила слушать отца потому, что он ни вздумает, то все на пользу. Потом опять к Тихону и говорит: «Видишь, старик! Ты не ошибся: делай добро, вот и тебе будет добро!»

Если в «Марусе», «срединной» повести первой книжки, господствует стихия лиризма, то «Конотопская ведьма» представляет нам Квитку-сатирика. «…В „Конотопской ведьме“, – отмечал И. Франко, – дал Квитка несравненный мастерский рисунок старых казацких порядков середины XVIII века в современном сатирическом освещении»[89]. В рецензии на галицкие юмористические журналы, появившейся в львовском журнале «Друг», Франко писал: «Элемент юмористично-сатирический богат у нашего народа, его остроумие, его поблескующий слезами смех послужил основой бессмертных повестей Николая Гоголя, оплодотворил знаменитые повести Квитки: „Солдатский портрет“, „Конотопскую ведьму“ и другие»[90].

Отправляя ее Плетневу с письмом от 8 февраля 1839 г., Квитка писал: «С такою надеждою на благорасположенность Вашу прилагаю „Конотопскую ведьму“, нелепую по содержанию своему, но все это основано на *рассказе старожилов* (выделено Квиткой. – *Л. Ф*). Топление (мнимых) ведьм при засухе не только бывалое, со всеми горестными последствиями, но, к удивлению и даже ужасу, возобновленное помещицею соседней губернии»[91].

Как явствует из этих слов, сам Квитка нисколько не разделяет суеверия старожилов, к которому прежде всего и относится определение «нелепое», готов удивляться и ужасаться возобновлению этого обычая помещицей соседней губернии. Но совсем иная позиция повествователя, образ которого создан в «Конотопской ведьме». Уже на первой странице повествователь выстраивает с читателем доверительные отношения, вступает в диалог, призванный убедить, что последующий рассказ будет правдив и искренен: «Але! Подождите-ка; я вам все расскажу – и откуда он так поздно приехал, и зачем не дали ему хорошенько и выспаться. Дайте-ка, у кого крепче табак, понюхать, да тогда и слушайте».

Имитации народной речи с одновременным внесением в нее элементов комического служат многочисленные звукоподражания и восклицания, щедро рассыпанные писателем на всем протяжении повести: «Хрусь!.. Пан писарь и переломил

хворостину…», «Агу! И наш пан сотник повеселел немного…», «Цур вам, пек вам, осына вам», «рып!.. и кто-то вошел в хату…», «так ба! И труба не дымит», «Экхе, экхе! Неужели восстанет от одра болезни?», «Эге! Ан вон-вон все собрались вокруг пруда и смотрят… А на что смотрят, так ну-ну!», «А крик, а говор от того народа, батюшки!», «Ну, ну! Такая-то и не знает!», «Цур ей!.. Еще чтоб не приснилось…», «Да чирк! И подписал *рукою властною*. А мы все: ких, ких, ких, ких!», «…и начали хлестать: дже-дже, дже-дже… даже задыхались бивши…», «Ких-ких-ких-ких! – захохотал народ», «Догадался! Э, э, э, э! Этого мне и нужно было», «То кот к ней: мяу, мяу! Эге! И понимали один одного», «Не хочу твоих подарков. Цур тебе, пек тебе, убирайся с ними!», «Мурлу, мурлу! мяу, мяу! – замурлыкал опять кот», «гоп! и упала на пол, словно неживая», «Терлич, терлич! Десятерых прикличь…», «он… шарах!.. поднялся вверх и полетел», «три раза панну Олену в спину тихонько: стук, стук, стук! да и примолвит», «Цур же ему, пек ему, этому Забрёхе!», «Бросился пан Пистряк… Хвать-хвать! щуп-щуп! Нет дверей», «Цытьте-ка, молчите», «стал по верхам читать, так ну! фить-фить! – да и только».

Описывая чудодейственную неудачу попытки утопить Явдоху Зубиху, повествователь и в мыслях не имеет противопоставить свое видение происходящего восприятию его суеверной толпой: «Притащили и ту, подвезли лодкою к сваям, подвязали веревками, потянули вверх… плюх!.. как об доску, так наша Явдоха об воду, и не тонет, а как рыбка сверх воды, так и лежит, и болтается связанными руками и ногами, и всем телом выворачивается и приговаривает: купочки-купуси, купочки-купоньки!»

Хотя повесть и называется «Конотопская ведьма», главным предметом изображения в ней является конечно же не Явдоха. Начинается она так: «Смутен и невесел сидел себе на лавке, в новой светелке, что отгородил от противной хаты, конотопский пан сотник Никита Власович Забрёха». И далее все ее главы будут начинаться той же формулой, явно тяготеющей к фольклорной традиции: «Смутен и невесел…», «Смутная и невеселая…», «Смутна и невесела…». Чаще всего она характеризует настроение того же Забрёхи, но иногда и других персонажей, а однажды и всю сложившуюся ситуацию: «Смутно и невесело было в одно утро в славном сотенном местечке Конотопе».

В уже отмеченном доверительном тоне, которому неизменно присуща юмористическая, а в дальнейшем и сатирическая составляющая, Квитка вводит нас в курс событий. Недалекий и малограмотный Забрёха не обладал никакими данными для того, чтобы претендовать на пост сотенного старшины. Но так повелось

в этом славном местечке, что сотничество переходило от отца к сыну, и когда старый Влас Забрёха умер и собралась громада на совет, кого поставить сотником, то все в один голос закричали: «А кому же быть? Власовичу, Забрёшченку, какого нам лучшего искать?» «Вот так-то и поставили его сотником, и стал он из Забрёшченка сам целым Забрёхою».

О мере готовности этого недоросля к исполнению столь ответственных обязанностей мы узнаем позднее, когда услышим из его собственных уст, как он учился и почему не способен сам прочесть рапорт, прибывший из Чернигова: «Сделай милость, приятель Григорьевич! Расскажи мне словами, что там в рапорте читал? Ты знаешь, что я ничего письменного не разжую, хоть и в школе учился и „Верую“ начал было учить; да на „же за ны“ как остановился и не мог далее идти, да и бросил грамоту. Так ты мне не читай, а расскажи, что это за рапорт принес казак из Чернигова?»

Не раз еще при жизни старого Власа Никита заводил с ним разговор о намерении жениться, да отец был скупенек, морщил брови, глядел сурово да все откладывал решение: «Пускай-ка, после подумаем». Никита почешется, да с таким отказом и пойдет. Теперь же, когда старик умер, сын не стал терять времени, сел на коня и так полетел, что только глазом его завидишь.

«Куда же то он так помчался быстро? – продолжает Квитка начатый с нами разговор. – Эге! Когда-то, где-то на ярмарке, видел он хорунжевну Олену, вот что на сухой балке хутор, называется „Безверхий“. <…> Вот туда-то потянул наш пан сотник Забрёха. Не взял же его черт на выдумки! Чует кошка, где сало лежит. Одно то, что девка здоровая, молодая, видная, чернобровая, полнолицая, а имения – имения, так батюшки! Свой хутор, лесок, винокуренка, мельничка, ветряная мельница, а скотины да овечек, так нечего и говорить!.. И все то ей достастся. *Затем-то* (курсив мой. – *Л. Ф.*) так наш Власович и поспешает…» Писатель с самого начала не оставляет сомнений в том, что побуждения Забрёхи не имеют ничего общего с чувствами Василя к Марусе.

Но «Олена себе девка бойкая была. Хоть пан сотник и сюда и туда загинал, а она его тотчас поняла, каков он есть и зачем приехал…» Она выставила ему на сковороде… запеченную тыкву. Рассмотрев такой гостинец, Забрёха выскочил из-за стола и выбежал из хаты. Он получил не просто отказ, но и был жестоко осмеян. Неудивительно, что и следующая глава начинается с того, что конотопский сотник сидел «смутен и невесел». В ней в поле нашего зрения входит еще один персонаж – «Прокоп

Григорьич Пистряк, конотопский сотенный писарь и искренний приятель конотопского пана сотника, Никиты Власовича Забрёхи, потому что он без него ни чарки горелки, ни ложки борщу ко рту не поднесет».

Вероятно, и фамилия сотника была производной от украинского слова «брехать» (врать, обманывать, Забрёха – тот, кто «забрехался», изолгался), но уж в отношении фамилии его друга-писаря и сомнений никаких быть не может. «Пистряк» по-украински значит «прыщ». Впрочем, фамилиями, вызывающими комические ассоциации, наделены и другие персонажи: Приська Чирячка, Химка Рябокобылиха, Паська Псючиха, Устя Жолобиха, Демко Швандюра и др.

Квитка подробно перечисляет, у кого и как долго учился Прокоп Григорьич, а вот насчет того, выучился ли он чему-нибудь, возникают большие сомнения. Квитка пишет об этом так: «…когда начнет он с паном Забрёхою разговаривать, вы только слушайте, а поймете ли что, не знаю, потому что он у нас человек с ученою головою: говорит так, что и с десятью простыми головами не поймешь».

Видимо, для демонстрации своей учености обладателям «простых голов» Пистряк щедро уснащает свои изречения славянизмами. Примером может служить уже первый разговор, во время которого писарь подает сотнику рапорт о сотенном народонаселении и на удивленный вопрос, почему этот рапорт такой длинный, не хворостина ли у него вместо хвоста, отвечает: «Хворостина сия хотя и есть хворостина, но оная не суть уже хворостина; понеже убо на ней суть вместилище душ казацких прехраброй сотни конотопской за ненахождением писательского существа и трепетанием моея десницы, а с нею купно и шуйцы. – Вот так отсыпал наш Пистряк».

Горевать сотнику и писарю есть о чем: пришло предписание от начальства вести сотню с конями и провиантами на Чернигов. Чтоб не получить нахлобучки от начальства, сотне надо «счет учинить» и «очесами обозреть». Но выясняется, что Забрёха «счета далее тридцати не знает». Не ладится дело и у «образованного» писаря: не может досчитаться одного казака. Казаки не понимают, зачем их собрали. Забрёха им: «„Цур вам, отвяжитесь от меня <…> Какой я порядок дам, когда писарь взбесился?“ <…> На него смотря, и казачество шарахнуло: кто в шинок, кто в солому спать после такого ученья, а некоторые бросились на огороды пугать девок…»

Хитрый Пистряк, норовящий сбросить недалекого Забрёху и самому занять его место, отговаривает его от похода в Чернигов и переключает его внимание на длительное отсутствие дождей: «…

Аще не сотворим внезапного одождения, все иссохнет и погибнет! Зелие и злак извяднет, и не будет хлебенного произрастания; тогда мы не точию возчихаем, но и умрем от глада и жажды внезапною смертию». А виноваты во всем «нечестивые бабы», которые «затворяют хляби небесные и воспрещают дождю орошати землю». Вот и начинаются поиски этих баб, чтобы выявить, которая из них накликает гибель на Конотоп, и каждая получает под мастерским пером Квитки индивидуализированную, образную, живописную характеристику. Было их семь, но на последней повествователь перебивает себя репликой очень характерной для стиля и тональности повести: «Так пускай уже кто другой рассказывает, а мне некогда. Чего-то конотопский народ зашумел и закопошился, и перед кем-то расступаются и дают к пруду дорогу… Так уже ведь *не до поросят, когда свинью смолят*…»

Тут и происходит уже известная нам сцена, когда выявляют «окаянную ханаанку», ведьму Зубиху Явдоху, которую и топят, и секут розгами, «чтоб отдала назад дожди те, что выкрала». Пистряк, убежденный в ее всемогуществе, пытается использовать это в своих интересах: сделать так, чтобы Олена, к которой так неудачно сватался Забрёха, «его полюбила и за него замуж пошла; а как он поддастся в колдовство, так тут его и ввести в дураки, чтоб и сотничества отрекся, а на его место поставить сотником его, Пистряка; и обещался, что тогда Явдохе своя воля будет колдовать как и сколько захочет». Мало того, он готов сделать все, чего пожелает ведьма: «Велишь ли Конотоп зажечь, так сразу с четырех концов и запалю; или велишь ли всех конотопских детей, которых вы, ведьмы, не любите, так всех в один день, всех до единого и растерзаю…» Но не так проста была Зубиха, чтоб поддаться на эти уговоры, и развязка оказалась вовсе не такой, какую чаял и сотник, и писарь.

Прибыл из Чернигова новый рапорт, и Забрёха, уровень грамотности которого нам уже известен, велел писарю его читать. «Пока пан Пистряк читал по складам да зацеплялся над словотитлами, так еще ничего, как же стал по верхам читать, так ну! фить-фить! – да и только». Там было так написано, что пана Забрёху, нашего-то Никиту Власовича, зачем не послушал пана полковника черниговского да не пришел с храброю конотопскою сотнею в Чернигов, как ему было писано; вместо того полоскал в пруде конотопских молодиц да старых баб, словно белье, да с полдесятка их на смерть утопил; а потом, как выискал между ними ведьму, так и ей поддался <…> так-то славно командовал пан сотник над своею сотнею, – так за то его с сотничества сменить…

Но не Пистряка поставили на то место, как он желал и крепко надеялся, «как прочел это Пистряк, да и письмо уронил, и голову повесил, и долго думал-думал, потом поднял письмо и говорит себе: „Нужды нет! Подобьюсь под нового, да и буду им управлять. Недолго будет пановать. И этого в дураки пошью: как его сменят, тогда, наверное, буду я“». В своих расчетах он резонно исходит из того, что кого бы ни назначили на место Забрёхи, он ничем не будет отличаться от своих предшественников – все одним миром мазаны. И очевидно, что такого же мнения придерживался и автор повести, сатирическое острие которой направлено на обличение казацкого старшинства, выродившегося в антинародную эксплуататорскую верхушку. Вместе с тем он обличал и современных угнетателей, безразличных к участи народа, использовавших свое положение для извлечения собственных выгод.

Своей повестью «Вот тебе и клад» Квитка подключился к разработке темы кладоискательства, получившей заметное распространение в русской литературе 1820–1840 гг. Первым к ней обратился О. М. Сомов, напечатавший в «Невском альманахе на 1830 год» «Сказки о кладах». Почти тогда же в «Отечественных записках» появилась повесть Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы», вошедшая в первую книгу «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Несколько позднее была написана «богатырская сказка» «О кладе» В. И. Даля, опубликованная в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“ за 1839 год». Повесть Квитки, завершавшая вторую книжку «Малороссийских повестей», была помещена в автопереводе в «Литературной газете» в 1840 г.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что все перечисленные произведения восходят к фольклорным источникам, в той или иной мере воспроизводят сюжеты бытовавших тогда рассказов, которые носили, как правило, легендарный характер[92]. Зачастую используется по несколько легенд и преданий. Иногда они входят в произведения, как авторские размышления, например у Даля, иногда как вставные рассказы – у Сомова и Квитки. У Сомова в «Сказках о кладах» сюжет является только рамкой для введения малороссийских преданий и легенд. Об этом автор говорит в примечаниях: цель повести – собрать как можно больше подобных рассказов. Гоголевский сюжет основан на одном из таких преданий (поиск цветка папоротника в ночь накануне Ивана Купалы). Сближают все эти тексты распространенные представления о сложности нахождения кладов: они заговорены, их происхождение окутано тайной.

Стоит отметить, что во всех произведениях действие

происходит в языческий или православный праздники. У Гоголя, Сомова и Даля – вечер накануне Ивана Купала, у Квитки-Основьяненко – пасхальная неделя (Страстная пятница). Везде главный герой связывается с нечистой силой: у Даля – это незнакомец, который оказывается чертом, у Гоголя – Басаврюк, у Квитки-Основьяненко – Юдище. Авторы вводят мотив договора с чертом, описание представителя потусторонней силы.

Герой повести Квитки Фома Масляк «больше всего любил слушать, когда начнут рассказывать про клады: как один человек с горбатеньким старичишкою, одною ногою хромым, на глаз кривым, неумытым, неопрятным, встретился на кладбище между могилами; как тот человек, испугавшись, да как резнул его со всей силы в ухо, так он весь и рассыпался в серебряные деньги, только забренчали, и тот человек в силу собрал их, и так разбогател, что и вздумать не можно, выскочил в паны и потом все лежал на мягких подушках. Другой рассказывал: как один пьяница поздно вечером возвращался из шинка, а тут навстречу ему из леска хромает рыжая кобыла, шелудивая и сопатая; бесчувственно пьяный наткнулся на нее и пихнул: она тут и рассыпалась в золотые, старинные копеечки, и он их целую неделю все переносил к себе, перестал пить, купил земли, выстроил ветряную мельницу и вовек был покоен. Вот таких-то рассказов наслушавшись, наш Масляченко не захотел уже трудами приобретать ничего, а все думал: „Найду клад один и другой, тогда разом разбогатею и накуплю всего, чего захочу“».

Поддается он на всякие россказни о пещерах, заваленных бочками с золотыми деньгами, о кадках с серебряными рублями и котлах с медными пятаками, о заговорных словах, которые позволят ему все это забрать, когда, дескать, придет фура с всякими деньгами, тогда не надо будет работать, а можно будет враз разбогатеть и всего накупить. Податливый на лживые соблазны, он и себя, и свою жену доводит до разорения. Увидел малорослого горбатенького старичишку, набросился на него – не рассыпается старичишка в деньги, а только мычит и усмехается. И к цыганке приставал: поворожи, мол, когда я разбогатею. Цыганка ему говорит то, что он хотел услышать: скоро разбогатеешь.

Видит Фома «жидовскую бричку», вылезает из нее казак-молодец, какого всякий бы испугался, а Фома, напротив, полюбил его, как дядю родного, и происходит между ними такой разговор: «Ты меня, человече, не знаешь?» – «Нет, дядюшка, – говорит Фома. – После будешь знать и благодарить; а теперь не зови меня дядюшкой; я скорее буду тебе вместо родного отца; а зови меня „пан Юдище!“» А уж когда Юдище пообещал ему помочь найти клад, Масляк к ногам его упал, так хотел, чтоб исполнилось его

желание.

Тогда писатель обращается к своему герою с таким назиданием: «Мудреный мне наш пан Масляк! Как это, что он ничего не понял? Когда б он был пьян, – а то освободись из-под стражи, ни евши, ни пивши, поспешал домой; не ужинавши вчера, с тощим желудком, бродил по селу, пока повстречался с Юдищем. Так как было ему не рассмотреть и не рассудить? А тут все видно чисто, как стекло. Отчего у кафтана Юдища полотнище было такое длинное, как будто у барина? Эге! хвост закрывало. Отчего на нем такая высокая шапка, да еще с углами? Надо было прикрыть рога, что у него на голове. – Человечье ли у него лицо? И в словах он дзыдзыкал словно жид. Как вот и стало, что это был черт, сущий, настоящий черт!»

Масляк уже от радости дрожал в надежде, что его мечта вот-вот исполнится. Но когда он отыскал Юдищу, между ними произошел такой разговор. «Батечка, голубчик! что хочешь делай со мною, только дай мне клад, хоть с полсотни кадок с червонцами… Так сказал Фома, низко кланяясь Юдищу». «Что и просить полсотни! – сказал Юдище, – и мне стыдно так мало дать тебе. Я сам знаю, сколько и чего тебе надо. Будет на весь твой век: живи, пей, гуляй, на что хочешь издерживай – все у тебя деньги будут беспрерывно. Только чем ты мне отблагодаришь?»

«– Все, что потребуете! – жадно крикнул Фома, думая, что вот деньги так и посыпятся на него: что потребуете, все перед вами; хотите душу взять? сейчас вам ее заручаю, только дайте подолее погулять…

– А на какого черта мне такая дрянь, как твоя душа? Она уже и без того давно моя. И прислужился же таким вздором! Знай, друг мой, что такой гадкой души, как твоя, мой последний слуга за нюх табака не возьмет. Мы с порядочными душами не знаем куда деваться. Было когда-то, что и за такою паршивою душою, как твоя, все мы ухаживали, чтобы ее заполонить; тогда в аду почти пусто было и нам скука была смертельная; с тех же пор, как люди, по их словам, стали умнее, так к нам ежедневно души валят до того, что я уже не знаю, чем их занимать и куда девать. Тесно становится в аду; а как еще поумнеют, так я и ад брошу: пусть сами в нем управляются. Ты же мне вот чем услужи да смотри, не солги…

– Батенька родненький, таточка, голубчик! – даже завизжал наш Масляк, и подпрыгивает, и приседает, и за руки его хватает, и все обещает: не солгу, не сбрешу, вот тебе крест… – и перекрестился… Шарарах-трах-тарарах! сильно зашумело все, и словно собака крепко завизжала, убегая в лес…

Оглядывается Масляк – нет ни Юдища, ни шатров, ни чертей,

ни музыкантов. Стоит он, сердечный, при выходе из леса, в терновых кустах…»

Не снес он этого удара. Когда вернулся домой и рассказал все, протянулся, захрапел да тут, при людях, и умер…

Кирик Жабокрюка, стар человек, долго стоял над ним, думал-думал что-то долго, после вздохнул и сказал: – «А что, Фома? – *Вот тебе и клад*». Это не просто слова старого, умудренного опытом человека. В них сконцентрировано представление Квитки о целом комплексе подлинных и ложных ценностей. Ими он призывает своих современников не гоняться за шальными деньгами, которые не заработаны честным трудом, беречь душу от дьявольских соблазнов, отвергнуть эгоистические побуждения, проникнуться пониманием, что духовные ценности выше материальных, что продажной душонкой осатанелого сребролюбца побрезгует даже черт. Чтобы полноценно осознать идею и мораль этой повести, ее нужно рассматривать в системном сопоставлении с другими произведениями писателя.

Третья, не вышедшая в свет книжка «Малороссийских повестей» должна была открываться повестью «Божии дети». Всем своим содержанием она воскрешает в памяти название начальной повести второй книжки – «Делай добро, и тебе будет добро». Это и естественно. Ведь такое название выражало самые сокровенные убеждения Квитки: он сам жил по этому принципу, и этим пронизано все его творчество. Но при несомненной близости идейных установок двух упомянутых повестей, обращают на себя внимания различия в их реализации.

Тихон Брус, убежденный поборник добрых дел, противопоставлен окружающим его селянам. Его действия не находят у них понимания, его отговаривают, пытаются наставить на другой путь. И лишь благодаря верховной воле сильных мира сего: урядника, губернатора и, наконец, царя, он получает то «добро», которое заслужил своей предшествующей деятельностью. В «Божиих детях» нет не только намека на какой-то конфликт, там нет даже отрицательных персонажей.

Писатель ведет рассказ – о том, «как Господь Сам печется о маленьких детях, хранит их и посылает им покровителей, и как не оставляет тех, которые заботятся о них…». В семье Захария Скибы растут двое приемных детей: сын Костя и дочка Мелася. Поскольку их отец был «не из достаточных», т. е. достаток его оставлял желать лучшего, Мелася попадает на воспитание в другую, зажиточную семью, в которой ее окружают искренней и трогательной заботой.

Когда брата Кости, уже семейного Терешку, хотят забрать в солдаты, Костя вызывается его заменить. Отцу, пытавшемуся его

отговорить, он отвечает: «Отец! Я не ветер какой, я не мальчик. Я разумею, на какое великое, на святое дело иду. Иду за брата, за его деточек; иду за тебя, таточка! Бог, видя мое дело, тебя не оставит и наградит. Иду за весь мир христианский; готов кровь проливать. Убьют меня – заменю тем какого доброго человека; а мне, по такой смерти, Бог царство даст, как мученику!.. Нет, тата, не держи меня. Если послушаю тебя, останусь с тобою; каково ж тебе будет смотреть на этих сироточек? Пусть не пропадут они: мы их возьмем; но им отца, а матери их мужа не возвратим».

Старый Назар, отец Терешки, «все молившийся на коленях, не вставая, приполз к ногам Кости. Тот поднял его, и обнялись себе. Назар долго ему смотрел в глаза, все держа за руки, потом сказал: „Человек ли ты? Нет, ты ангел, посланный Богом спасти нас“. И много-много благодарил его, что возвратил его на свет божий! Нельзя того ни рассказать, ни написать, что там было! Какая благодарность Косте! Какая молитва за него!..»

Узнав, почему Костя идет в солдаты, воспитавший его сестру барин сказал: «Великое дело твое, Костя! Бог и тебя сохранит, как ты захотел сохранить малюток от сиротства». И это пророчество сбывается: майор, в распоряжение которого он попал, проникается к нему любовью и всемерно облегчает службу. «Он майору, когда случалось, и бумаги писал, и службу исправлял на похвалу перед всеми. Все начальники знали его за славного улана и за то любили, что с дурными людьми и с бездельниками не водился». Майор пользовался каждым случаем отпустить его домой, где счастливо жила его сестра Мелася, любимая мужем.

Последующее развитие событий Квитка рисует бегло, не углубляясь в детали, потому что не детали эти ему важны, а вывод, к которому он стремится подвести читателя. Случилась война с поляками, которых «наши» «били славно». «Не миловал их и Костя. В скольких был уже баталиях – и все подле своего майора – и Бог выносил его целым; да еще, за его смелость и храбрость, все знали его, и генералы жаловали, знавши, через что он пошел в службу. <…> Рубились-рубились, и как-то майора – что был впереди – окружили поляки, чтобы заполонить его.

Костя видит, что беда, крикнул:

„Пропадем без командира! Все помрем, а выручим его. За мною, уланы!“

Кинулись уланы живо помогать майору, который, отбиваясь один, был изранен; а начальник поляков то и дело кричал:

„Изрубите его, а улан и без того искрошим!“

Как тут Костя, не помня себя, кидается в кучу, пробился, схватил падающего майора и выпихнул его к своим, – да сам тут

же и упал! Как на то набежала наша помощь. Ляхов всех до единого тут и иссекли. Майора понесли к лекарям лечить. Бросились и между убитыми искать Костю, потому что все любили его: нашли его, сердечного; в голове рана большая, и левая рука, по локоть, отрублена; но еще жив. Чрез детскую молитву Бог спас его!

Принялись его лечить, и вылечили совсем; только, уже без руки, служить не мог никак. Описали всю его храбрость, и как спас майора, начальника своего, и послали бумаги. Вот и пожаловали ему офицерский чин в отставку. Так-то родительская и детская молитва держит человека на свете!

Какая же то радость была, когда увидели его Захарий и Мелася, что уже воротился совсем из службы! А тут еще он и благородный, и крест имел, и сказано, чтобы за его калечество царское жалованье давать ему по самую смерть. Уже рады, да рады были, и все Бога благодарили и раздавали много на бедность». В завершение Костя находит и личное счастье, становясь мужем женщины, которую давно любил, и повесть заканчивается таким его разговором с отцом:

«„Думал ли я, как брал вас, голодных, из опустевшей хаты, что через вас и от вас будет мне такое счастье?“

„Так, таточка! – сказал ему Костя, целуя его руку. – Бог всегда посылает Свою милость тем, кто милует детей“».

Характерная для Квитки тяга к благополучным концам, когда справедливость торжествует и добрые побуждения вознаграждены, выявилась здесь в полной мере. И еще на одну особенность этой повести стоит обратить внимание. Почти каждую автор имел обыкновение начинать философско-морализаторским введением, которое обычно готовит читателя к проникновению в ее идейный смысл. При этом случалось, что введение отвечало основному содержанию не в полной степени. Но трудно назвать другое произведение, когда это несоответствие выявилось бы с такой определенностью.

В самом деле, о чем ведет речь Квитка во вступительном монологе? О тех чувствах, которые вызывают в душе человека маленькие дети, как дорожим мы любой возможностью приголубить ребенка, его чем-то развеселить. Как жалко смотреть на дитя, когда оно больное, тут душу свою отдал бы, чтоб отгадать, чего ему хочется, и все то доставить, чтоб только оно успокоилось. И обещает: «Вот расскажу я вам, как Господь Сам печется о маленьких детях, хранит их и посылает им покровителей, и как не оставляет тех, которые заботятся о них, соболезнуют и не жалеют ничего, лишь бы сих птенчиков сохранить от всякой беды». Но нет! Рассказ в действительности

совсем не об этом, персонажи его взрослые, и как ни мастерски-трогательно написано авторское предисловие, оно существует вне связи с последующим текстом, как бы само по себе.

По причине той огромной любви, которую питал Квитка к Украине и украинцам, отрицательные персонажи в точном смысле этого слова в его повестях – большая редкость. Конечно, он не пытается идеализировать своих соплеменников и утаивать присущие им слабости. Но все это он делает по-доброму, подмешивая к насмешкам над ними немалую долю сочувствия и даже симпатии. Конечно, он выставляет напоказ алчность недалекого и наивного Масляка, обуреваемого жаждой найти клад и мгновенно разбогатеть, и понесенная им неудача выглядит как справедливая кара за проявленные им негативные качества. Но он не отказывает ему в сочувствии и не стремится вызвать в читателе неприязнь к нему.

Сердешная Оксана изображена как жертва коварного обольстителя, хотя писатель не снимает и с нее долю вины за то, что с ней произошло. Ирония, с которой описаны попытки кокетки Домахи привлечь к себе внимание нарисованного солдата, не лишает ее авторской симпатии. И подобных примеров можно привести сколько угодно.

Поэтому острый антагонизм добра и зла, однозначное осуждение Дениса, героя рассказа «Перикатиполе», выглядит неким исключением: Квитка предстает здесь таким, каким мы не видели его в других произведениях. Знакомство читателя с этим персонажем происходит при таких обстоятельствах. Когда в селе начинает загадочно пропадать живность, он предлагает обыскать хаты и начать с него, хотя в его честности и без того никто не сомневался, чем, понятно, лишь укрепляет положительное отношение к себе.

Ему противопоставлен Трофим – неудачник и неумеха, не способный ни работать, ни зарабатывать. Случай сводит его с Денисом, они нанимаются к одному хозяину. Денис понятливее и проворнее Трофима и быстро завоевывает расположение окружающих. Однако со временем умелый и удачливый Денис начинает открываться Трофиму другими своими качествами. Между ними происходит такой разговор:

«– Скажи мне, Трофим, так, по всей справедливости: ты расположен верно и честно служить хозяину?

– А как же и служить, когда не совсем усердием? сказано: нанялся, продался. Я хозяйской крошки не хочу и если бы видел, что мой родной брат тратит хозяйское добро, то я и на брата объявил бы.

– Исполать тебе, Трофим! – сказал ему Денис и ударил его

слегка по плечу. – Так и вовек служи, разбогатеешь! – и отвернулся от него; но Трофим заметил, что он усмехнулся при этом.»

«Что это сделалось с нашим Денисом? – думает себе Трофим. – Как я посмотрю, так он тут другой человек, чем был в нашем селе».

Усмехнулся Денис не зря: он задумал черное дело. Когда хозяин поручил ему запереть лавки, он, для вида повозившись с замками, оставил их отпертыми. Видевший это Трофим обо всем сообщил хозяину. Тот, «прибежавши, осмотрел… так и есть! Ни один замок не замкнут! Начал кликать Дениса, а Дениса и не слыхать!.. Может, он и сидел все время подле лавки, да как увидел хозяина, прискакавшего с фонарём, таки и догадался, что умысел его открыт; оттого и притаился тут же, и не отозвался хозяину». Благодарный хозяин щедро Трофима наградил, тем более, что другие лавки были в ту ночь обкрадены. А вот при каких обстоятельствах происходит следующая встреча двух наших героев.

«Раз, сидит Трофим подле лавки, смотрит, ведут арестантов. Напереди и назади их солдаты с ружьями. Присматривается Трофим… между ними идет и Денис… „Дожился чести!“ – подумал Трофим и стало ему земляка жаль. Подбежал к нему и подал, что случилось у него, в подаяние ему. Что же Денис? глянул быстро и, увидев, что это Трофим как заскрипит зубами, глаза побагровели – и бросил ту милостыню далеко и сказал: „Лучше бы я пропал, чем тебе видеть меня в таком поругании!“ – и пошел не оглядываясь.

Рассказал это Трофим хозяину, а он сказал: „Переловили всех, что лавки обокрали, схватили и Дениса. На него доказывают, что он их приводчик и с ними вместе воровал уже по другим местам несколько лет, так ни в чем не признается“». Трофим отправился домой, обрадованный тем, что ему довелось впервые вернуться с заработком. Но по дороге его догнал каким-то чудом освободившийся Денис. Узнав, что Трофим при деньгах, он решает его зарезать и приводит этот замысел в исполнение.

Когда тело Трофима было обнаружено, никто не хотел верить, что Денис способен на такое страшное преступление. Но исправник, расследовавший дело, улавливает противоречия в показаниях убийцы и заставляет его признаться во всем. Денис рассказывает детали совершенного им деяния, не упуская и то, что умирающий сжал в руке комок принесенного ветром перекатиполя. «…Я еще промолвил: „Держи крепче свидетеля, чтоб не ушел“. Поспешно обыскал его и, найдя в полах свиты зашитых несколько целковых, отрезал и спешил убежать оттуда.

Что же? – признаюсь вам, люди добрые, в этот страшный для меня час перекатиполе преследовало меня, куда бы я ни бежал; во весь тот день ветер гнал его за мною, гнал также и на другой день, до самого села. Но я все смеялся и полагал, что ни по чему не будет открыто мое преступление. Бог привел иначе! Вот все мои деяния. Пусть судит меня Бог и государь!»

Квитка завершает свою повесть словами: «И Дениса осудили по заслугам». И лишь тогда нам открывается в полной мере смысл рассуждения, которым она начиналась. В отличие от того, что мы видели в «Божиих детях», связь здесь несомненна и органична. Во вступительном монологе писатель стремился внедрить в наше сознание по крайней мере две истины, которые и призвано подтвердить последующее «истинное происшествие, многим в рассказе известное».

Первая, что Создатель наш – «самое истинное добро, самая чистая правда, он не потерпит, чтобы какое зло осталось неявленным. Хотя человек, учинивший зло, и запутает последствия до того, что никто не доищется правды, так Он, премудрость вечная, Он, знающий наши тайны, видящий мысли наши, Он не допустит торжествовать злу. Он сделанное тобою обнаружит таким путем, каким ты и не предполагал. Он объявит тебя как перстом укажет: – „Вот он!“ – и так объявит, при таком случае, когда ты не ожидаешь, и чрез такую безделицу, ничтожный случай, что ты вовсе и не думал».

И вторая, что напрасно мы боимся лишь суда человеческого и думаем, что Суд Божий нам ни по чем. «Чего каждый из нас ни делывал тайком? – И если только люди не прознали, то и горюшка мало: ходим себе бодро, глядим прямо – что твои праведники! Хоть под суд отдавай: доказчиков нет, свидетелей не было, сошло с рук – и концы в воду! Так мы думаем, да не так бывает. Один-то конец нашего греха в руке Божией, а другой крепко привязан к нашей совести, точно к языку колокола, – как ударит, так сами же все и выскажем, и обличим себя кругом».

Завершается третья книжка повестью «Вот любовь!»

4 октября 1839 г. Квитка писал Плетневу, что «сведения о Галочке», героине этой повести, были сообщены ему «единственно с тем, чтобы сделать их известными», и он «рассудил написать для этого класса людей что-нибудь назидательное»[93]. Упоминается «Галочка» и в написанном тогда же письме к М. А. Максимовичу: «На требование Ваше поучаствовать в составлении „Киевлянина“ скажу Вам со всею откровенностию: пишу не по наряду, не делаю из сего работы по обязанности, а там, как придется. Вспомнится какая Маруся, Галочка, от нечего делать – напишу, и так написанное все

отправил к приятелю в Петербург, он уже дирижирует всем, и я в распределении пьес вообще не участвую и часто, получая какой журнал, не ожидая в нем своей пьески, нахожу ее нечаянно. Теперь у меня нет ничего ни готового, ни придумываемого…»[94]

«Приятелем», не названным здесь по имени, был Плетнев. Ему и была отправлена в русском переводе повесть «Щира любов». Но, ознакомившись с ней, Плетнев (что бывало очень редко) выразил неудовлетворенность ее концовкой, которая, по его мнению, не соответствовала художественной правде, упрощала и обедняла основную коллизию произведения, нарушала логику развития характера главной героини, была данью идеализации. Это вызвало неприятие со стороны писателя (что также было для него совсем не характерно), и его жена Анна Григорьевна отвечала Плетневу от их общего имени: «Почему вы находите, что Галочка существо неземное? Право, мне жаль, что вы так думаете, чтоб в простом быту не было благородства души и возвышенных чувств! Я вас хочу уверить, что Галочка существовала и что теперь есть в том месте, где она жила, люди, которые рассказывают о ее уме и о красоте ее столько похвал, что они даже в песнях сохранились… Извините, что я так горячо вступилась за Галочку – мое милое дитя, которое тем более для меня интересно, что это истинное происшествие, о котором давно просила мужа описать его»[95].

Но вскоре и Квитка, и Анна Григорьевна изменили свое мнение и согласились с замечаниями Плетнева. Квитка изменил концовку повести и, посылая Плетневу новый вариант, писал: «Не далее как и сегодня, перечитывая, по обыкновению нашему ежедневному, последнее письмо Ваше, почтеннейший друг наш Петр Александрович, и с душевным восторгом принимая каждое выражение, каждое слово в том, как будто вновь его открыли, мы остановились на „Галочке“ и решились, соглашаясь с Вами, не отступить от истины. Ваши замечания справедливы; заключение неправдоподобно, не достойно чувств ее, неестественно. И вот другой, подлинный конец. Кажется, что оно ни по чему не подходит к „Марусе“, разве только что смерть, но совсем другого рода смерть – необходимая, неизбежная, против воли ее, победившая все ее желание жить. Хорошо ли и надобно ли после этого пускаться в подробности, уверять, что это было точно, объяснять, где место, на коем она жила, или оставить прежний конец. Это все зависит совершенно от решения Вашего, а если сказать мнение Анны Григорьевны (я, как ответчик, должен молчать перед судьями), то ей больше нравится этот конец, нежели прежний. Тот не будет отвечать заглавию, как-то унижает чувство ее, неприличен, не достоин ее, показывает деревенскую

бабу, все истребившую из души; как увидела себя хозяйкою, матерью – все забыла. Перестаешь любить ее, принимать в ней участие, в другой раз не захочешь читать ее. Все это Анна Григорьевна нашла, внимательно прочитав Ваше письмо, и потом обратилась к рассмотрению обеих развязок, поручив мне дописать новый конец. Теперь она ждет с нетерпением нового года, ожидая увидеть свою „Галочку“ в 1 книжке „Современника“ и чем Вы ее кончите»[96]. Повесть была напечатана в 1839 г. в 16-м томе «Современника». А в 1840 г. в следующем 17-м томе появилась отдельная публикация, сопровожденная обширным предисловием Плетнева и озаглавленная «Вот любовь! Измененное окончание».

Как это нередко бывает у Квитки, «Вот любовь!» открывается достаточно пространным рассуждением, призванным подготовить читателя к правильному пониманию тех лиц и событий, которые предстанут перед ним в дальнейшем. Как дает понять само название повести, предметом этого рассуждения станет любовь. Этого предмета он касается постоянно. Любовь занимает центральное место в «Марусе», любовь определяет побуждения и поступки самоотверженной Ивги, и этот перечень не трудно продолжить. Но ни в каком другом произведении Квитки его представления о любви, его понимание любви, его видение идеальной любви не выявились с такой полнотой, как в повести, о которой пойдет речь.

С первых строк автор берет под сомнение, чтобы не сказать отвергает распространенные, принятые повсеместно представления о любви: «Что есть любовь? Много про нее и в книгах пишут, и рассказывают, да все, мне кажется, не так». Сквозь весь этот вступительный авторский монолог проходит многократно повторяемое понятие – «истинная любовь», Квитка настойчиво стремится показать, чем истинная любовь отличается от принимаемых за нее суррогатов. Она не возникает вследствие минутных, поверхностных впечатлений: «положены красивые ленты», «сама вся ловкенькая и приглянулась изо всех». А на другой день уже любит другую, а прежнюю и не вспоминает. «Это ли любовь? <…> Вот же, божусь, что это не любовь, а так, игрушка, забава, ветер. Ветром нанесло, ветром и выгонит».

Не возникает истинная любовь «от черных глаз, от долгой косы, от румяных щек», «не присматривается, черные или карие глаза, с горбиком ли нос, белая ли шея». Она выявляет себя в том, что «душа нашла другую, что, как сестры себе родные, сердце с сердцем сдружилось», и не могут жить друг без друга. Здесь Квитка говорит слова, полный смысл которых можно постичь, лишь дочитав до конца его повесть. Истинная любовь выявляет

себя в самоотверженности: «Одному придется слёзку пролить, другой всю кровь свою рад отдать, чтоб утешить его; одного притесняют, обижают, другой за него и на муку, и на смерть готов. Когда одному из них приходится пострадать, век жить в беде, другой, не думая долго, сам кидается в беду, лишь бы другу его было хорошо. „Пострадаю, говорит; если и не вытерплю, умру? Нужды нет, но кого люблю, защищу от беды, избавлю от горя“. <…> Когда же такие любящиеся видят, что им невозможно соединиться, иначе один через другого будет страдать, беды терпеть, так он охотнее на всякое горе сам пойдет, сам век счастья не узнает, уедет, чтоб и слуха о нем не было, лишь бы друга избавить от беды, удалить всякое горе!..»

Иным «лишь бы вместе жить, то они не думают ни о какой беде. На все пойдут, лишь бы им не разлучаться. Хотя бы век терпеть горе, но жить вместе…» Но и они не на уровне требований, которые предъявляет к этому чувству Квитка: «Так, да не так поступает самая истинная любовь. У ней нет своей воли, своего желания, своего счастья. Она живет другим и для другого…» Он апеллирует к своему жизненному опыту: «Видел я живших столько на свете, всякую любовь, и какое от них последствие, так могу прямо сказать: „вот любовь!“» и воскрешает события, действительно имевшие место и памятные старожилам: «не знаю, водится ли еще где истинная любовь? а это происходило в старину, да именно было это». Что это признание не было художественным приемом, мы видим их в доверительных письмах Квитки и его жены к Плетневу.

Восторженно описав красоту девок с хорошо ему знакомой харьковской Гончаровки («Не один молодчик с ума сходил от черных бровей какой-нибудь Наталки! Не один француз терялся от поволоки глазок Мелашки!»), Квитка характеристику любимой им героини начинает не с восхищения ее внешностью, а с того, что она была труженица и мастерица: «Что то за девка была! Чего она не умела? Шить ли всякую работу, вышивать ли что или какое-нибудь дело сделать, все знала решительно; и уже когда что сработает, так точно, будто золотыми руками».

Многие хотели ее посватать, но она не шла ни за кого, ожидала своего, «потому что знала, что когда-нибудь встретится же ей такой, кого она изберет». И вот появляется офицер, которому предстоит занять в будущем повествовании одно из главных мест. Еще не видевшая его Галочка узнает о нем из рассказов отца, и говорит он не красоте, а о душевных качествах, уме и воспитанности своего нового знакомого: «Это такой пан, доня, что благодать Господня! Я никого не видел простее, как он. Не гордый; таки-сам, своими руками, взял и посадил меня подле

себя. И что то за преумные разговоры говорил! Повек того не забуду».

Происходит их первая встреча, за ней следуют другие, и новый знакомый все больше занимает ее мысли: «Вот так-то каждый божий день Галочка что-нибудь найдет в Семене Ивановиче, чего прежде не рассмотрела: то голос приятный, то как задумается чего – а что-то частенько начал задумываться! – так-так его жаль, все бы на него и смотрела! А как ходит по хате, так какой стройный!» А после его ухода волновалась, что он больше не придет и «горько плакала до самого вечера! Чего же? И сама не знает! <…> От таких мыслей она даже с ног свалилась: прилегла на постель, обливаясь слезами…»

И вот наступает момент, когда она слышит из уст Семена Ивановича признание: «Галочка! Зоречка моя!.. Не могу без тебя пробыть!.. Все тебе расскажу, как я страдаю без тебя». «…она и не почувствовала, как заснула, думая о своем счастье…» И тут мы слышим голос автора, обращающегося к своей любимой героине: «Спи, Галочка, не просыпайся! Мы счастливы в мечте, а мечта – сон… не просыпайся, бедная!..». Казалось бы, Галочка и Семен Иванович любят друг друга и нет никаких препятствий для того, чтобы их счастье претворилось из мечты в действительность. Вот происходящий между ними разговор:

«– Когда меня так любишь… Галочка! Сделаешь ли все для моего счастия?

– Что хочешь, прикажи: пошли меня на край света… да нет на свете той силы, которая удержала бы меня от любви к тебе; а потому и нет того на свете, чего бы я, от истинной любви моей, не сделала для тебя…

– Какое блаженство! – сказал Семен Иванович и, поцеловав ее страстно, промолвил: – Галочка!.. я не могу жить без тебя!.. Я женюсь на тебе… выйди за меня!.. Куда же ты встаешь?»

Но Галочка, бледная как полотно, хватаясь за стол, неожиданно называет его «ваше благородие». Он потрясен: «Кому ты это говоришь?.. Кого величаешь?..»

«Вас», – сказала Галочка уже твердым голосом. И далее: «Вам не прилично того и думать, что вы мне теперь сказали! – говорила Галочка с некоторой суровостью».

Этот «твердый голос» и «некоторая суровость» говорят о том, что ею принято продуманное и бесповоротное решение.

«– Что с тобою сделалось?.. Галочка! Так ли это ты так говоришь? – продолжал Семен Иванович, все более и более приходя в недоумение.

– Я, Галочка, дочь обывателя Алексея Таранца, простая девка, напоминаю Семену Ивановичу, что он дворянин, пан, поручик…

ему не прилично и думать так».

На вопрос, любит ли она его, Галочка отвечает: «…Видит Бог, как крепко люблю вас и буду любить навек.

– Когда же так любишь, почему не хочешь идти за меня?

– Потому не иду, что люблю вас крепко; меры нет, как люблю, пламенно люблю!

– Почему же не хочешь своего и моего счастья?

– Мое счастье в моем сердце… Желая сильно, чтоб вы были счастливы, я не хочу и слышать слов ваших».

Она отвергает его довод, что любовь равняет всех. Сословное неравенство стоит для нее выше взаимной любви и стремления к счастью. Она отказывает ему из заботы о нем:

«Чтоб не погубить вас навек; чтоб *не завязать вам света* (не отнять у вас радостей света)… Семен Иванович! Я вам неровня!..»

Она убеждает его, что в случае их брака все будут расспрашивать его про жену: откуда и кто она такая? А узнав, что «она мужичка», «все будут над вами смеяться, все осуждать, винить, будут удаляться от вас, что у вас от жены вся родня мужики». «…каково будет вам тогда?» «Попрекам и насмешкам конца не будет. Не перенесете, спохватитесь… рады бы поправить, но уже невозможно будет. Вот и возненавидите меня… <…> Неужели мне легко будет видеть, что от меня и из-за меня вы будете страдать; и я, все видевши, могу ли жить? Так же умру, как и тогда, как вы перестанете любить меня. Да я о себе и не занимаюсь. Как хотите, меня перерядите, научите всему приличному для пани, но натуры, привычек не переделаете, все будет видно, что я коренная мужичка. Куда явитесь со мною, везде меня засмеют; каково вам тогда? <…> Вам и скучно будет без дела, и, увидевши, что грех жить праздно, желали бы возвратиться в свет, между людей, но я вам камень на шее! <…>…я, дабы отвратить от вас всякое горе, иду на видимую смерть. Разлучиться с вами смерть для меня!»

Она объясняет ему, чем ее любовь отличается от того, как любят другие. Если бы, говорит она, я любила вас «легко» (обратим внимание на это очень важное слово!), то чего было бы и желать: «я из мужички делаюсь барыней, муж у меня молодой, красив – как нарисованный; хотя на месяц, я потщеславилась бы, а потом, что бы с ним ни случилось, хотя бы пострадал чрез меня, хотя бы и оставил меня, мне все равно было бы… <…> Так я же вас не так люблю! Волос ли с вас падет, а у меня сердце разорвется; вам беда только приходить будет, а я буду страдать! И потому-то лучше целый век мучиться, горе терпеть, всякие муки перенесть, лишь бы маленькую беду отвести от вас!.. Нет у меня другого желания, как ваше спокойство, счастие, нет у меня

мысли, жизни, все вы. Чрез вас, для вас и вами только живу!..»

И еще одно, завершающее признание делает она в конце разговора: «…не жалею, что так сильно полюбила такого отличного, разумного и с доброю душою человека. Счастие мое, что я *вас* узнала, а никого другого… но нет! Я другого и не полюбила бы. Велико и мое счастие, что вы полюбили меня. Вы мне как будто свет открыли. Без вашей любви я погибла бы. Неужели же нам не можно любить друг друга без всяких горестных последствий? Будем любить один другого, как брат и сестра. Будем всегда вместе и будем счастливы. <…>…люди будут почитать вас так же, как и теперь; никто вас ни в чем не обвинит, ничем не укорит;…я от радости буду без души, что такой человек так крепко и благородно любит меня, девку простую, необразованную, только тем немного стоящую такой любви, что любит вас выше всего на свете! <…> Любите меня так, то я и вы будем весь век счастливы!»

Но его перспектива любить ее так, естественно, устроить не может. Не умея «всего изъяснить», что у него «на мысли», он убежден, что так «не можно» и решает просить Галочкиного отца Алексея в надежде, что тот его послушает. Но Алексей ни к чему дочь принуждать не хочет: «…я так положил: кого Галочка сама изберет… тот и будет мой зять». Собственные же его доводы во многом перекликаются с тем, которые Семен Иванович слышал от нее самой.

Мы не зря уделили столько внимания этому диалогу и в особенности тем аргументам, которыми Галочка объясняет и оправдывает свой отказ от замужества со столь горячо любимым ею человеком. Здесь смысловой и эмоциональный центр произведения, ключ, может быть, единственный, к правильному пониманию и его идеи, и его заглавия. Именно он помогает понять, почему Анна Григорьевна, жена и однодумец писателя, уверяла Плетнева, что «Галочка – мое милое дитя», не удостоивая такой мерой близости ни Марусю, ни Ивгу, ни «сердешную Оксану» – ни одну из героинь, вышедших из-под пера Квитки.

Дальнейшее развитие событий подтверждает убежденность Галочки в своей правоте и решимость во что бы то ни стало добиться своего. Она делится с отцом опасениями, что Семен Иванович сумеет вынудить Алексея, чтобы он приказал дочери выйти за него замуж, и она не сможет его ослушаться. «И тем, – говорит она отцу, – погублю навсегда того, за кого бы я отдала последнюю каплю крови, и чтобы доставить ему спокойную и счастливую жизнь, готова перенести все мучения! Мысль, что я, вышедши за него, буду причиною всех бед его, убивает меня!.. Так, чтоб положить один конец, отдайте меня, таточка, замуж. Он

увидит тогда, что все кончено, сам одумается и… найдет свое счастие!..»

Поскольку ее целью было «выйти за ровню», подобрали неизвестного ей человека по имени Никола, «круглый сирота, честного, хорошего рода, только бедность такая, что и не было и нет ничего». Алексей понимает существо происходящего: «Тяжко было ему на душе, хотя исполняя дочернину волю; но какая эта воля ее была!.. Это все равно, как бы она, выбрав нож, просила бы именно этим ножом зарезать ее!»

Приехавший Семен Иванович застает ее уже замужней и слышит от нее последние слова: «Прощайте! Все, забудьте и самую мою любовь, заставившую меня решиться на такой подвиг для вашего спокойствия… Счастье вы еще найдете… а я!!!» Счастья он не находит, но находит спокойствие и правоту Галочки со временем осознает. Он говорит автору: «Всегда вспоминаю Галочку и благодарен ей от полноты души, что она предусмотрела все и отвратила от нас обоих вечные бедствия. Видно, она больше людей знала, нежели я… А как любила меня.

Тут он задумался и долго все думал, наконец сказал: „И воспоминания горьки! Не облегчу ли я скорби своей, рассказав тебе все подробно?“ И он рассказал мне все, что у них было с Галочкой в Харькове, на Гончаровке. Потом заключил: какой же геройский подвиг ее! Каково самоотвержение! Вот любовь!» Собственно текст повести завершается словами: «Кто научил тебя, Галочка, девушка простая, без образования, без сведений о свете, кто научил тебя так любить? – „Вот любовь!“». За этим следует некое подобие авторского постскриптума: «Все это, до последнего, истинная правда. Еще и теперь в Харькове, на Гончаровке, есть люди, которые слышали от отцов своих, а другие и сами помнят Галочку и что́ с нею это все происходило».

Заслуживает первостепенного внимания тот факт, что процитированное выше завершение повести отсутствует в ее украинском тексте, озаглавленном «Щира любовь», и было введено автором при ее автопереводе. Возьмем на себя смелость утверждать, что ее русское название глубже отвечает ее содержанию и идейному смыслу, чем украинское. «Щира» – по-русски значит искренняя. Но разве можно взять под сомнение искренность любви Маруси или Ивги? Тем не менее никто не сказал бы об их чувстве: какой геройский подвиг! Какое самоотвержение! Обе они стремились к счастью, притом Ивга, спасая возлюбленного, боролась за свое счастье, и именно настойчивость и энергия, проявленные ею в этой борьбе, вызывают наше восхищение.

А Галочка приносит свое счастье в жертву своему

возлюбленному. Ею движет убеждение, что, обретя его, она его погубит. Именно это она многократно стремится довести до его понимания. Сознает ли она, что своим отказом она лишает счастья и его? Видимо, нет. Она вполне определенно и уверенно убеждает его в том, что их сословное неравенство и те толки, которые оно вызовет в его среде, побудят его позднее, когда остынет нынешняя страсть, пожалеть о том, что он соединил с ней свою жизнь, и таким образом она явится невольной причиной его несчастья, а именно это сознание для нее невыносимо и побуждают ее не только отказаться от него, но и создать непреодолимое препятствие на его пути, если бы он решил не смиряться с ее отказом.

Эта мера самоотверженности, до которой не возвышается ни одна из женщин, описанных в других произведениях Квитки, побуждает и писателя, и нас видеть в ее поведении подвиг, на который способна только она одна. Именно потому, что ее поведение исключительно, не имеет аналогов, не укладывается в обычные представления о счастье, о заботе о возлюбленном, именно потому Квитка и в тексте повести, и в письмах подчеркивает, что все описанное в его повести «истинная правда» и есть еще люди, способные это подтвердить. Именно потому и произошли разногласия с Плетневым, каковых не бывало ни по какому другому поводу и факт переделки уже отправленной ему повести – факт также беспрецедентный.

3

Помимо повестей, включенных в три рассмотренные нами сборника, Квиткой были написаны и другие. Они не равноценны и не все заслуживают особого внимания. Но на трех из этих повестей нельзя не остановиться. Две из них – «Козырь-девка» и «Сердешная Оксана» – И. Франко относил к тем, которые «глубже всех достигают основы тогдашней сельской жизни». «Первая, рисуя героизм сельской девушки в борьбе с продажным чиновничеством, а вторая, предшественница „Катерины“ Шевченко, но идейно далеко превосходящая ее, рисует положение девушки, уведенной офицером и ее моральную победу над народными пересудами, осуждающими покрыток»[97].

19 октября 1840 г. Квитка писал Плетневу: «При бывших у нас выборах меня избрали в председатели уголовной палаты. <… > Должность, требующая всего внимания и большой деятельности. Впрочем, не без того, что и сюжет из дела встретится для рассказа…»[98] Это было далеко не первое соприкосновение писателя с нравами, царившими в современном

ему юридическом мире. Еще будучи председателем уездного дворянства, он отстаивал интересы малоимущих, помогал безграмотным разбираться в законах. В 1834 г. его выбирают совестным судьей. И «сюжет для рассказа» сложился раньше, чем он упомянул об этом в цитированном выше письме. Летом 1836 г. Квитка пишет повесть «Козырь-девка», которая 9 февраля 1837 г. получает цензурное разрешение, в 1838-м публикуется отдельным изданием на украинском языке, а в 1840-м – в «Современнике», в русском автопереводе.

Не приходится сомневаться, что это произведение вобрало в себя многолетний опыт, накопленный автором, изнутри знакомым с судебной системой. Именно ей, этой системе, и адресована первая фраза повести: «Ничем мы так не согрешаем, как осуждением ближнего». Слишком часто осуждение оказывается беспочвенным: «открывается, что не тот виновен, кого подозревали, а вовсе другой, на кого и не думали». Так могло случиться и в той истории, о которой рассказывает Квитка: «так-то было пришлось одному человеку вместо виновного, и если бы не девка выхлопотала, он бы погиб навсегда. Да и девка, точно, „козырь“ была!» Звали ее Ивга, и автор специальным примечанием настаивает на том, что «начальное Й должно выговаривать остро: Йивга. Ивга – Евгения».

Ивга «сметлива, расчетлива, изворотлива; еще ты ей намекни только, а она уже и рассчитала, что, куда и для чего <…> туда пошлет, сюда сама сбегает, там купит, там наймет, тут подрядит – и все у нее запасено, все есть. Вот и говорю, – хорошо было Макухе жить так беспечно, при такой дочери». Полную противоположность ей представляет собой ее брат Тимоха. Если бы он хозяйничал, спустили бы все имущество. От него и девки уходят, и шинкарь прячется. «О, да и удалой был на все злое! Пьет смертную чашу, дерется с кем попало, девок обманывает; когда сядет играть в карты, у всех берет деньги, растаскает их по шинкам да по вечерницам».

О двух чертах этого отпетого проходимца предуведомляет нас автор, и обе они очень важны для правильного понимания дальнейшего содержания повести. Первая – что «с волостным писарем были задушевные друзья и что-то между собою затевали». И вторая: «К тому же был ужасный вор. Ивга, бывало, бережется от него, как от татарина: что ни увидит у нее, все потянет». Отец же ему ни в чем не отказывал, любил его, и нежил, и тешил всем, чего захочет, и хотя Ивга упрекала его за то, что он дал такую волю сыну, он все-таки давал ему столько денег, сколько тот попросит.

Был у Макухи и приемный сын, которого звали Левкó.

Усыновила Левка годовалым ребенком его покойная жена Горпина, а сам Макуха приемыша не жаловал, чем пользовался Тимоха, который по любому поводу бил сводного «брата». Бедный юноша всеми своими бедами делился с Ивгой, которая «была лет на пять моложе его, а потому и она не могла доставить ему никакой отрады и только было плачет с ним». Левко бы и отошел от них, но полюбились они с Ивгой, и «она дала ему клятву, лишь только женит брата и отделит его и отца при нем устроит, тогда же выйти за него и завести свое хозяйство». Но неожиданное происшествие нарушило все их планы. Уходя к соседке, она дала Левку ключ от отцовской светлицы и велела ему там ее ждать.

Здесь Квитка прибегает к характерному для него приему, цель которого – помочь нам ощутить авторский взгляд на события и их участников. Он восклицает: «Ах, Ивга, Ивга! Чего ты так долго у соседки засиделась? Какое дело тебя удерживает там? Пока ты там занималась, дома что делается? Приди, посмотри!» А делалось там вот что. Старик Макуха, вернувшись домой навеселе, вошел в светлицу и… «Господи милостивый! Что это такое?.. Макухин сундук отперт, разбитый замок лежит подле, на полу… над сундуком стоит… Левко! Нельзя сказать, он или подобие его!.. Бледный чрезвычайно, глаза закатились… В руке держит мешок с деньгами, другая рука полна целковых… И, верно, уже не первую пригоршню потянул из мешка, потому что кругом его на полу лежат все целковые».

Естественно, Макуха решил, что поймал вора на месте преступления. «Берите его! Хлопцы, сюда!». «„Берите его… Вяжите разбойника!“ – кричат все вдруг, и схватили бедного Левка. <…> Что же бедный Левко? Что ему делать? Известно: идет, куда ведут его, не может противиться <…> Каково же было Левку переносить все это? Что он? Идет и не смеет глядеть на свет божий! <…> Иногда всматривался в кучи народа, не увидит ли, кого ему надобно… На этот шум выбежала от соседки Ивга и, не ожидая себе никакой беды, спрашивает кое-кого, кого это так ведут? Как же услужливые соседки рассказали ей по-своему о случившемся, так она и не опомнилась… Побледнела, затряслась и упала бы, если б кума ее не поддержала…»

Читатель повести только в конце ее узнает, чтó произошло на самом деле, но мы скажем об этом сейчас, чтобы избежать недопонимания, и характера происшествия, и поступков главной героини. Обокрасть старика Макуху намеревался его сын Тимоха, недаром автор, характеризуя его, особо подчеркнул, что он «был ужасный вор». Проникнув в светлицу и не видя Левка, спрятавшегося под стол, он, «взявши в углу топор, хряп по замку, он и рассыпался; отворил сундук, недолго рылся, тянет мешок с

деньгами! Хотел весь унесть, но подумал и спешил развязать… И начал таскать из него горстями деньги и прятать в карман. Но как поспешал он, то и рассыпал их по земле довольно». Когда же он убежал, заслышав неподалеку голос отца, Левко решил собрать рассыпанные целковые и сложить их обратно. За этим занятием его и застали и обвинили в воровстве.

Спустя полвека Артур Конан Дойл, вероятно, не подозревавший о существовании не только повести «Козырь-девка», но самого ее создателя, воспроизвел в своем рассказе «Берилловая диадема» совершенно ту же ситуацию. Сын банкира Холдера застает на месте преступления человека, державшего в руках ювелирное изделие, представлявшее уникальную ценность. Он препятствовал попытке его похитить, но подозрение пало на него. Так же, как Левко в повести Квитки, он попадает в тюрьму, и только благодаря искусству Шерлока Холмса выясняются истинные обстоятельства дела и справедливость торжествует.

Хотя картину происходившего в светлице Макухи мы узнаем в конце произведения, Квитка и на протяжении предшествующего повествования не оставляет сомнения в том, что его симпатии на стороне Левка, и мнения толпы, считающего его вором и разбойником, писатель не разделяет. Иначе он не стал бы сочувственно называть его «бедным», а о тех, кто обвинял его, не сказал бы: «Сколько же еще наплетут…» Не знает всей правды и Ивга, которая позднее даже упрекнет своего возлюбленного в том, что он сразу не рассказал ей, как было дело, но она убеждена, что он не способен совершить преступление, и самоотверженно вступает в борьбу за него, проявляя душевные качества, которые и сфокусированы в названии произведения.

Эта борьба составляет главное его содержание, вскрывает пороки тогдашней судебной системы и дает беспощадно правдивое представление о моральном облике «вершителей правосудия». Вначале несколько строк, которые правомерно считать экспозицией. В действительности они играют более важную роль, в их свете вся последующая история воспринимается не как случайное стечение обстоятельств, а как явление предвидимое, нормальное, едва ли не неизбежное: «Начальствующие в селении поспешили собраться в волостное правление, словно мухи к меду. Известно, что кому приключится беда, напасть, то судящим и с одной стороны, и с другой кое-что перепадет, без дохода не будет… На то они и судящие!»

Здесь в поле нашего зрения попадает персонаж, которому предстоит сыграть в повести не последнюю роль, – писарь. Он, хоть и сидит в конце стола, но являет собой лицо, заинтересованное в исходе дела: он приложит все усилия, чтобы

погубить Левка, потому что сам намеревается жениться на Ивге. А главное, поднаторевший в подобного рода делах, он отражает устоявшийся, предопределенный подход к ним всех «судящих»: «кто в простенькой одежде, так он на тех и не смотрит, а только на одетых в жупаны глядит ласково, как кот на сало».

Соответственно ведется и расследование. Выслушав рассказ Макухи, как тот, «вошедши в светлицу, нашел Левка над сундуком с деньгами», и показания подтвердивших это «свидетелей», «голова» кричит несчастному Левку, пытающемуся объяснить, как было дело: «Не смей и слова пикнуть передо мною! Знаешь ли ты? Я голова, и голова не на то, чтобы слушать твои оправдания, а тут же наказать тебя».

Даже «старый Макуха крепко поморщился, знавши, как производятся в селениях следствия». Даже заинтересованный в обвинении Левка писарь пытается что-то пролепетать, что «с учинившего происшествие треба (надо) восследует снять доношение… или тее-то допрос», потому что «справка всеконечно, чистая, но нужно собственное признание…» И получает от головы четкое указание: совершить подлог! «А для какого черта я буду мучиться еще его проклятым допросом? <… > Разве ты ум потерял и руки отсохли? Напиши сам и приобщи к делу…»

Но только писарь, почесывая чуб, сел, чтоб писать, как Ивга бросилась ему в ноги, предлагая и намисто, и дукаты, какую-то еще особую благодарность и умоляя дать ей возможность «с Левком один на один переговорить, расспросить его: это не он сделал… Это что-то не так…» Но писарь уже распорядился набить на арестанта железа и посадить в «холодную» под надзором караульных. Он счел, что сейчас самый подходящий момент наладить свою будущую семейную жизнь. Покашливая, покручивая усы и взявшись за бока, он посвящает Ивгу в свои планы. И аргументы, которые он при этом приводит, исчерпывающе характеризуют всю его душевную сущность.

«Евгения Трофимовна! Или ты, сердце мое, одурела, или с ума сошла? И девованье твое, и молодость, и красоту, и все богатство хочешь погубить с таким развратным! Его судьба решена: вечная каторга ему предпишется. Не убыточься, не издерживай ничего, не давай мне ни намиста, ни дукатов; отдай мне себя со всем имуществом. Я человек с дарованием. Посредством твоего достатка и моей способности выскочу в заседатели земского суда. Ты будешь хозяйничать, а я на следствиях стану приобретать. А! Каково? Будет нам, останется и деточкам. Оставь этого разбойника. Я его упрячу в Сибирь, а мы с тобой останемся в спокойствии и во всяком удовольствии. На всю

ночь отправлю его в город, а завтра пришлю сватов, и ты выдашь им рушники…»

Но нашла коса на камень. Не такова наша козырь-девка, чтоб податься на эти посулы. «А чтоб ты не дождал и с твоим скверным писарским родом! – так прикрикнула на него Ивга. – Можно ли, чтобы я оставила моего Левка, кого покойная мать велела мне уважать; оставила и променяла на тебя, пьявку мирскую! Сошлете его в Сибирь – я поеду за ним. Да не у вас правда. Я дойду и до города и к судящим доступлю; всем расскажу, что Левко не таковский, это, может, на него наслано через колдовство. А ты выкинь из головы помыслы на счет мой: уйдут твои сваты от приема моего…» Разъяренный писарь скрипя зубами сел писать, да так, чтобы вернее спровадить несчастного юношу в Сибирь.

– Как же там голова с понятыми производит следствие? Известно, как видели и у земских, – саркастически спрашивает Квитка, досконально осведомленный о сложившихся нормах и нравах, и язвительность его рассказа нарастает с каждой фразой, с каждой новой деталью. «Первоначально сели за стол, а Макуха то и дело представляет доказательства; то полыньковой, а потом дошло и до настоенной на калгане, что Ивга было припасла для проезжающих полупанков. Выцедили штофики до дна, беседуя то о сенокосе, то об урожае, а о деле еще никто и не заикнулся. <… > Еще не поели совсем всего наготовленного, и уже начали деревянными спичками шпигать вареники, и, обмакивая в растопленное масло и приготовленную сметану, есть, поспешая, чтобы свободнее приняться за терновку, которой полный штоф Макуха поставил на стол…»

Нет нужды продолжать этот перечень. Напомним лишь его завершение. «Пан голова еще смог дойти до своей хаты, потому что она была близко и он был мужик крепкий, а прочие судящие зашли не знать куда, и уже утром подняли их лежавших всю ночь на улицах. Знатно учинили следствие».

Обновляется состав действующих лиц, но действие остается прежним. Никто не интересуется существом дела и судьбой несчастного Левка, и все следуют затверженному правилу: каждого начальника нужно получше угостить и одарить в соответствии с его вкусами. Становится известно, что приезжает «сам пан исправник». Что нужно делать? Понятно что. «Бросились собирать у хозяев кур, яйца, послали в город накупить и *ренского* (виноградного вина, какого бы ни было, все называемого „ренским“), и за французскою водкою. Как же назавтра была пятница и пан исправник в этот день ни за какие блага скоромного не кушал, то приказано было купить кавьяру (икры), крымских сельдей, свежепросольной осетрины, лучшей рыбы

свежей, раков и булок».

Поведение исправника сразу подтверждает, что подготовка к встрече с ним велась в правильном направлении. Войдя в хату и помолившись Богу, он «закричал: „Есть ли что обедать?“ – „Есть, ваше благо… тее-то… ваше высокоблагородие, – отвечал писарь с унизительной покорностью. – Но не соизволите ли прежде всего следствие…“ – „Пошел вон, дурак!“ – закричал на него его высокоблагородие, затопал ногами и следствие, которое писарь подносил, соизволил швырнуть ему в рожу: „Что ты меня моришь делом? Я и без того измучился. Сними с вора допрос и подай мне после, а я теперь хочу обедать“».

И в дальнейшем любое действие начальника обозначается не иначе как глаголом «соизволил». Сначала «соизволил обедать знатно», потом «соизволил, стуча крепко ногами, выругать еще его, что мешает ему лечь отдохнуть после обеда <…> После отличного мирского обеда пан исправник „опочивал“, потому что много трудился с курятиною и яичницею».

Между тем коварный писарь, не оставивший намерения окончательно погубить Левка, собирает людей и выспрашивает у них, «есть ли за Левком, приемышом Макухи, какие качества?» Малограмотные мужики, считающие, что «качества» – это непременно пороки, единодушно отвечают: «Есть ли у него качества? Гм, гм! Пускай Бог сохранит! Нет за ним ничего. Я дам присягу и должен сказать по правде, что он дитя доброе, хлопец смирный, работящий…» – «„Все, все в одно слово говорим, как присягали…“ – зашумела громада».

Писаря нисколько не смущает, что он получил совсем не те показания, которых добивался, и он «начал писать по своей воле, что *такие-то* из-под присяги показали, что Левко воряжка, бездельник, бродяжничает по другим селам, к домостроительству не способен, в воровстве, пьянстве, драках и прочих качествах упражняется частовременно и что им довольно известно, что хотел обокрасть хозяина своего, и потому они не желают принять его на жительство и просят или отдать в солдаты, или сослать в Сибирь на поселение. Такой обыск не побоялся пан писарь греха подписать за всех тех людей, что давали ему руки в одобрение Левка, а он, видите, как дело искривил!.. О писарская душа!..»

Ивга не оставляет попыток спасти своего возлюбленного, ищет для этого любые возможности, «бьется, сердечная, как щука об лед», и получает совет пойти «к самому судье»: «говорят, что в нем вся сила, он над всеми наистарший. И знаешь ли что, Ивга! Понеси ему что-нибудь. Все-таки учтивее.

– Что же я понесу ему, когда у меня нет ничего?

– Бубликов связки две. Он у нас не разборчив: я когда-то

отнесла ему по делу пяток печеных яиц, не поцеремонился, спасибо ему, взял и дело сделал.

Купила Ивга две связки бубликов и пошла с ними к судье. <…> Лишь только судья увидел бублики, так и бросился на них и начал жрать». Тщетно пытается несчастная женщина узнать у него что-нибудь о своем деле. В ответ она слышит только одно: «Вот бублики, так-так! – облизываясь и чавкая, говорил судья. – О твоем деле? И, что я люблю, маку много… О деле? И масла много… Вкусны, очень вкусны!.. О твоем деле? Да поджарены!.. Я еще твого дела не знаю, приди завтра, я завтра скажу тебе. – И с сим словом, кончивши бублики, вышел из хаты, все прихваливая: – Вот бублики! Будь я бестия, если и дома ел такие!»

В надежде, что она нашла средство воздействия на судью, Ивга принесла ему «четыре связки бубликов, печеных на одном масле и густо маком осыпанных. Судья только увидел ее, тотчас бросился к бубликам, начал жрать, а ей говорит: „Да как много!.. Я за раз не поем… А против тебя виноват: совсем забыл про твое дело! Да уж потерпи… Решу и дело… вот как и…“» Но оказывается, что и сам судья не знает, что дело уже решено и сам он уже неделю назад подписал решение, «чтобы оного вора, мошенника наказать плетьми и сослать на поселение».

С разными людьми сталкивалась Ивга, пытаясь спасти Левка, и этот судья еще не худший из них. Его обжорство читатель воспринимает как недостаток более или менее простительный. Он по крайней мере откровенно признается сначала в том, что забыл о ее просьбе, а потом и в том, что не помнит, допрашивали ли Левка перед утверждением его приговора. Но тем очевиднее писатель утверждает другое: вся судебная система, независимо от того, что отдельные ее представители могут быть по-человечески симпатичнее других, изъедена, как ржавчиной, общими пороками. Все эти чиновники, исправники, головы, судьи совершенно безразлично относятся к делам, которые им доводится рассматривать. Все они поражены мздоимством, их решения зависят от выпивки, которой их накачивают, от бубликов, которыми их задаривают, и каких-либо справедливых решений от них ждать бесполезно.

Расставаясь с обманутой и обиженной им Ивгой, судья, возможно, ощущающий какую-то меру вины перед ней, делает попытку оставить ей хотя бы тень надежды и говорит, что окончательное решение еще не принято: «дело пошло еще в губернию, там пробудет с русский месяц, тогда пришлют сюда; да тогда уже накажут и сошлют».

Ивгу не остановишь: «Дело послали в губернию, пойду и я в

губернию, что бог даст!» Дело принимает такой оборот, который древние называли «Deus ex machina» – вмешательство высших сил, какого-либо мифического бога, благодаря которому трагедия получает разрешение. Еще не успела Ивга увидеть губернатора, как уже слышит о нем восторженные отзывы: «Ты не бойся его, он – как отец. Недаром сказано: губернатор всем защита, все за него молят Бога».

Увидев губернатора, Ивга упала ему в ноги, забыв, что нужно было говорить. «Что же? Губернатор сам, своими руками, поднял ее и начал ласково расспрашивать, о чем она просит его». Увидев, что она «настолько смешалась, что более ничего не может выговорить», распорядился: «„Иди ко мне в дом, там отдохни, пока я приеду, и расскажешь все. Не бойся, не бойся меня; я тебе помогу. Жандарм! Проводи ее тихонько ко мне, да не обидь ее дорогою; дома вели ее накормить, пока я приеду“. Вот начальник, истинный отец! Как будто свет открылся для Ивги!»

Приехав, губернатор только вошел в дверь, тотчас и крикнул: «Где же девушка?» Разобрался в деле и не только освободил Левка, но и дал ему деньги «за то, что посидел в тюрьме безвинно». Виновные получили по заслугам: «Писарь, сидя в „холодной“, слушал, как добрые люди гуляли на свадьбе у Левка, и от досады рвал волосы на себе, что не ему досталась „козырь-девка“. А потом пошел в ту дорогу, куда располагал отправить Левка, прямо в самую Сибирь. Голову сменили, чтоб не умничал <…> А Ивга? Она уже и замужем, она и молодица, и деток имеет, а от всех всегда слывет: „козырь-девка!“»

В украинском литературоведении советского периода «Козырь-девка» неизменно получала комплиментарные оценки, однако сказанное там нуждается, на наш взгляд, в существенных коррективах. Уделивший этому произведению значительное внимание А. И. Гончар, в частности, писал: «Повесть „Козырь-девка“ в сравнении с „Марусей“ – значительный шаг писателя вперед в создании положительного героя – образа простой девушки, в вопросе индивидуализации образа, придания ему жизненных реалистических черт, в отказе от той иконописности, которой была отмечена личность Маруси. Для Маруси характерна определенная пассивность, покорность судьбе. Ивга прочнее чувствует себя на жизненной почве, она не временный гость в жизни, а в какой-то мере хозяйка своего положения. Она чувствует в себе силы и решимость для нелегкой борьбы за свои права, за несправедливо обиженного близкого ей человека»[99].

Трудно согласиться с категоричностью такого противопоставления. И «Маруся», и «Козырь-девка» занимают в ряду малороссийских повестей Квитки вершинные места.

«Маруся» – это подлинная трагедия в самом высоком значении этого слова. Это было, безусловно, любимое детище писателя: ни одна другая повесть столько раз не упоминается в его письмах. А «Козырь-девка» – самое острое и, не побоимся сказать, блестящее проявление мастерства Квитки-сатирика.

Маруся умирает от болезни, и гадать, как она повела бы себя, если бы ее любимый попал в беду, совершенно бессмысленно. Образ Ивги никакой не шаг вперед в сравнении с образом Маруси, просто эти две женщины совершенно разные. Как мы знаем, Квитка и не собирался затрагивать в «Марусе» какие-либо социальные проблемы, он стремился продемонстрировать возможности украинского языка, опровергнуть мнение, что этот язык неудобен и вовсе не способен к тому, чтобы написать на нем что-то серьезное, трогательное. Эти две повести были по-разному задуманы, и ни одна из них не уступает другой в проявленном Квиткой писательском мастерстве.

Более основателен другой упрек, который предъявлялся автору «Козырь-девки», – что развязка повести искусственна, малоправдоподобна[100]. Действительно, губернатора, сходного с обрисованным Квиткой, может быть, и удалось бы найти, но счесть такую фигуру типичной – никак. Однако и здесь решение, принятое писателем, может быть оправдано. Судебная система обличена в повести так язвительно и беспощадно, что если бы не надуманный хеппи-энд, она вообще могла бы не дойти до читателя.

В 1838 г. Квитка получил от цензора П. А. Корсакова письмо такого содержания: цензурный комитет через Корсакова предупреждал Квитку, чтобы он «остерегался <…> 1) выводить на осмеяние читателя губернаторов, генерал-губернаторов и сенаторов, 2) оскорблять шутливыми эпиграммами бородатый люд»[101]. Когда Квитка получил данное письмо, «Козырь-девка» была уже написана, но можно не сомневаться, что оно было не первым предупреждением подобного рода. Да и цензурные мытарства его первого романа, позднее получившего название «Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова», конечно, не изгладились из его памяти.

То, что Квитка начинает свою повесть «Сердешная Оксана» обширным вступлением, выдержанным в морализаторской тональности, привычно для его читателей и воспринимается ими как обычный, свойственный ему прием, который встречается в его творчестве неоднократно. Необычно то, что здесь, как и в «Божиих детях», оно не ассоциируется с основным содержанием повести.

Речь в нем – о родительской любви к детям, о том, что матери

не тяжелы никакие труды, заботы, лишения, лишь бы тем могла она доставить им спокойствие, утеху, отвратить скорбь. Никак не готовит нас к будущему содержанию произведения описание характера вдовы Веклы Ведмедихи и сведения о том, что она скотину продала и начала жить деньгами, без дальних хлопот, тяжких для женщины, что когда умер ее муж Охрим, объявилась ревизия, как бранилась она с писарем и проч., и проч.

А повесть Квитки – совсем о другом, она перекликается по содержанию с «Катериной» Шевченко, о чем говорится в его письме к поэту от 23 октября 1840 г.: «А что „Катерина“, да-да, что Катерина! Хорошо, батенька, хорошо! Больше не умею сказать. Вот так-то москалики-военные обманывают наших девчаток. Описал и я „Сердешную Оксану“ точнехонько как и Ваша „Катерина“. Будете читать, как пан Гребинка отпечатает. Так-то мы одно думали про бедных девчаток и бузовировых (изуверских. – *Ред.*) москалей»[102].

С первого появления героини повести на ее страницах она овеяна ясно выраженной авторской симпатией: «А что же это за девка была? Беляночка, живая, проворная, ко всему скорая, на речах бойкая, против всякого учтивая, приветливая. Где она, там от нее смех и хохот, игры и забавы. <…> Если бы мертвый мог слышать, как она точит балясы, то и тот расхохотался бы; а о живых и говорить нечего, что, где она в беседе и ращебечется, там ложатся от смеха. На улице, на вечерницах, в колядке, наша Оксана всем перёд ведет; без нее не знали бы, что и делать. <… > А как бы весела ни была, но лишь увидит старца, калеку или потерпевшего от пожара, тут она оставит все, тотчас к нему, распытывает (расспрашивает), возьмет за руку, поведет к себе, накормит, наделит чем бог послал, дает на дорогу и проводит за село: только и видно ее, как она около бедности увивается, да все слёзочки утирает. Наделила, проводила, слёзки утерла… бежит… уже опять в беседе и опять верховодит по-прежнему: весела, жива, говорлива, как и была».

Вновь и вновь нагнетаются эпизоды и авторские характеристики с очевидным намерением представить Оксану в наилучшем свете. И вот – первое зерно будущего конфликта. Оксана делится с матерью впечатлениями, которое произвел на нее офицер, возглавлявший команду «москалей». «Да какой он, мамочка, разумный! Да как его все слушают! Что скажет, так все и поспешают делать. Когда крикнет на них, чтоб подняли ружья, то они, как раз и поднимут, даже забренчат все… Так весело, что не можно! А куда скажет им идти, направо или налево, только крикнет, так никто и не поспорит, стеною так и идут. То-то, я думаю, он разумный! А что уже красив, так и меры нет…»

Замечает мать странности в поведении дочери, не свойственную ей рассеянность, когда она что-то говорит или делает невпопад. А красавец-офицер все нейдет у нее с ума: «Уж так это голос! Как станет перед ними, то словно орел!.. Сам же высокенький, пряменький как стрелочка, усы есть небольшие, красивенькие… собою чернявый…» Вскоре и офицер обратил внимание на девушку, состоялось их знакомство, он стал восхищаться ее красотой, «а она глаз не сводила с него, везде преследовала его взором, и сердечко в ней так и бьется, как рыбка, поймавшаяся на удочку; в душе ей так весело, превесело, что и рассказать не можно». Кажется, она встречает взаимность с его стороны. Он говорит ей: «Я красивее тебя не видал нигде… и полюбил тебя… крепко полюбил! – и, взявши ее за руку, сказал тихонько: – Только полюби меня, я сделаю тебя счастливою».

Оксана как в раю! Она, не хотевшая выходить ни за какого мужика, и думала все о панстве, об роскоши, слышит теперь, что ее любит пан молодой, красивый, богатый – она видела на его мундире золото; – и, конечно, он настоящий пан, потому что солдаты его слушают и боятся; и этот пан говорит ей, что он любит ее и сделает счастливою. Конечно, он хочет взять ее за себя?.. вот, вот она станет панею… что ж осталось ей на его слова говорить? Вот она, от чистого сердца, и сказала: – «Как же вас еще полюбить?..»

«– Полюби меня от всего сердца… думай обо мне… выходи ко мне… полюби, как я люблю тебя?..

– Я же так и – люблю, а может и больше!..»

Здесь раздается голос автора, который прямо обращается к своей героине: «Оксана! Оксана! Если бы ты больше знала панов, ты бы никогда так не сказала: ты бы с первого слова отбежала от него, как от лихой годины! Ты не знала панов, и еще лучше панычей. Им не диво одурить селянку, не видавшую их сроду, не слыхавшую как они брешут, клянутся и потом губят поверивших им!..» Таких обращений будет в дальнейшем несколько, но ни в одном мы не встретим ни осуждения, ни укора, ни осознания того, что и на самой девушке лежит доля ответственности за то, что с ней случилось. Нет, она только безвинная жертва! Но происходившие события описаны так, что читатель может сделать и более широкие выводы.

«Ничего этого не знала наша Оксана! – продолжает Квитка. – Она еще с малых лет наслушалась, что красива так, как никто. Она все желала выйти за пана, и вот… пан полюбил ее… она не могла себе вообразить, чтобы пан мог неправду говорить… потому-то смело призналась капитану, что любит его… Только это выговорила на беду себе, как капитан, сам не свой, бросился к

ней, обнял, поцеловал… ему же не в диковину девушек целовать, словно орехи щелкать, а каково-то было нашей бедной Оксане?.. Земля под нею пылает, небо загорелось, солнышко красно стало как мак… сама она, словно птичка, готова вспорхнуть и лететь… не помня ничего, не рассуждая ни о чем, чтоб не разлучаться с своим милым, чтоб он не остался один без нее, обвилась около него рученьками… и, чтоб еще насладиться тем же счастьем, какое она теперь испытала, сама поцеловала его… да тут и обеспамятела, и не оторвется от него…»

Квитка уже здесь обращает наше внимание на то, что капитан, хоть и клялся ей в любви, но подлинной взаимности с его стороны Оксана не имела. Вслед за достаточно выразительным сравнением, что ему «не в диковину девушек целовать, словно орехи щелкать», автор прямо дает понять, что чувства и побуждения капитана несопоставимы с тем, что питала к нему Оксана. Хотя он тоже клялся ей, что они будут «любиться до смерти», но, подчеркивает Квитка, «целовал девушку, которую любил так слегка… пополам с обманом. Приятно, правда; но не больше, как, долго пробывши на сырой погоде, глоток грогу…»

Не умалчивает писатель и о том, что при всей искренности чувств Оксаны ее любовь подпитывалась и надеждами на то, что женитьба на ней капитана сулит ей «панскую жизнь». Когда местный парубок Петро, предлагавший ей выйти за него замуж, напоминает, что она оставила пустые ведра и коромысло, «она не поймет, про что он говорит ей. И как понять? Она только лишь была в своих панских покоях, открывала свои сундуки, показывала подругам свое богатство, примеривала ивановские рубашечки, вышитые шелками, рассылала работниц за всяким делом… а тут, где взялся Петро, где взялись ведра… и ей приходится, оставя панство, самой идти за водою!..»

Между тем коварный капитан продолжает вынашивать новые зловещие замыслы. Он добивается размещения на постой и чтобы квартиру ему отвели в доме, где живет Оксана. Старая опытная Векла резонно отвечает, что нельзя складывать сено вместе с огнем и она ни за что не согласится отдать честь своей дочери на поругание. Капитан, увидев, что потерпел неудачу, продолжает искать другие пути, чтобы осуществить задуманное.

Между тем Квитка вновь и вновь обращается к Оксане, и эти обращения очень красноречивы, потому что показывают меру сочувствия писателя своей героине: «Оксана, Оксана! Где твои шутки и игры? Где твои танцы и скоки? Где твои песни и щебетанья?.. Все минулося, все прошло! Гай, гай!.. Та же девка, да уже не та!» «Оксана, Оксана! зачем ты тут же не рассказала матери всего, зачем не призналась ей, о чем ты именно

плачешь?.. Это были бы последние твои слезы!..»

Был момент, когда казалось, что мечта девушки близка к исполнению. «С беса же лукавый капитан» (так называет его Квитка) обещает Оксане, что она будет его женой. Но возникает задержка: его полк отправляют в поход. «Чего-то уже тут ни брехал капитан! Чего ни выдумывал, чтоб только одурить нашу Оксану! А она, сердешная! Как барашек под нож, как рыбка на удочку, сама кидается и цепляется… верит всему!»

Капитан увозит Оксану на свою квартиру, вроде и посылает за батюшкой, чтобы их повенчать, но перед тем предлагает ей выпить чаю. Об этом не сказано прямо, но можно заключить, что в чай было подмешено какое-то зелье. «Напилась Оксана офицерского чаю! Будешь, сердешная, помнить его, и повек оскомины не сбудешь…» – комментирует происходящее Квитка. «Сердце болит, рассказывая, сколько и как страдала наша Оксана, и что переносила от своего губителя, злого капитана!.. Не можно и пересказать, как он возил ее с собою по походам, как ее берегли ночь и день, чтобы не ушла. Если же соберутся к нему офицеры, то она должна была стоять у дверей, подавать трубки и прочее».

Появляется у Оксаны мальчик, по имени Дмитрик. «В один день она пристала к капитану с горькими слезами, чтобы он сказал ей решительно, покроет ли он когда свой грех, обвенчается ли с нею? Супостат смеялся, а потом снова подтвердил свои клятвы, и что не пройдет недели, как он кончит все с нею. Но в тот же вечер, когда собрались к нему офицеры и стали пить чай с проклятою подливкою, погубившею навек Оксану, то зашел между ними разговор о ней; и тут капитан сказал, что он и не думал никогда утопить себя, женясь на ней, вольно ей, дуре, верить было и даже теперь ожидать; что она ему наскучила, что он готов проиграть ее в карты кому угодно или поменяться на собаку…»

Думала она о смерти, собиралась умереть вместе с сыном, но спас ее Петро, чувствами которого она когда-то пренебрегла, но который продолжал преданно ее любить. «Добрая Петрова душа!.. Бросился к ней, поднял ее, посадил и сам сел подле нее; утешал ее, сам поплакал с нею. И как она, прежде всего, пристала к нему, чтобы сказал ей о матери, жива ли она, и как живет, то он и рассказал. <…> О, как плакала и билась сердешная Оксана! Если бы могла, сама на себя руки подняла бы, слушая, до какой беды довела она мать свою!.. Как умел, так и уговаривал ее Петро, и стал придумывать, как явиться ей к матери. Оксана ничего того не слушала. <…> Еще Петро и не договорил совсем, а Оксана уже у ног его!.. Хватает их, целует, обливает слезами, задыхается и не может слова сказать: „Петро… Петро!.. ты не

человек, ты ангел божий!.. Брат родной не придумал бы, чтобы так утешишь меня!.. Что ты это вздумал?.. Достойна ли я того, что ты хочешь сделать? Как в твой честный дом, где жила богобоязненная семья от отца и деда, ввести меня, потаскуху, что и глядеть на нее стыд и срам, что земля не держит ее…“»

Возвращается она в родное село, а ее прежние подруги и видеть не хотят, «говорят: „…за свое мандрованье с солдатами не достойна, чтобы вы и глядели на нее“». И вновь мы слышим обращение к ней повествователя – ни в какой другой из своих повестей Квитка так часто и многообразно не использует этот прием. «Оксана, Оксана! Ты ли это все слышишь, и в том селе, где когда-то, прежде, только лишь выйдешь на улицу, то все выбегают к тебе, чтоб хоть взглянуть на тебя, позавидовать на твою красу; когда же заговоришь с кем, так и тот радешенек; все собираются вокруг тебя, чтоб послушать твоих речей, шуток и выдумок. Да что: и самый престарейший дед или немощной, как выведут его на улицу и посадят на призьбе, так и такой, когда, бывало, проходишь мимо его, то и он так пристально смотрит на тебя, и даже не вытерпит скажет: „Вот девка, так-так!“ А теперь какая тебе честь!.. Что-то будет еще от матери?!»

И мать действительно встретила ее сурово и сказала, что такая дочь ей не нужна, но, увидев крошку Дмитрика, смягчилась. «Быстро взглянула на него Векла, вздрогнула всем телом и спросила: „Се воно?“

– Воно, мамочка! – сказала Оксана… и как сказала! тут слышно было и раскаяние, и стыд, и страх, и ожидание… <…> „Так, ангелок божий! – сказала Векла, пригорнувши его к себе. – Буду тебе бабою, дам тебе мать“. <…> Господи! И рассказать того не можно, что тут было между ними! Сколько они плакали, как обнимались… Оксана все выспрашивает мать, от всего ли сердца прощает ее, потому что, от радости, не верит своему счастью…» Она говорит Петру, что всегда ценила его высокую и чистую душу и вышла бы только за него, «если бы не явился… он… погубщик мой…», и Петро берет на себя заботу и об Оксане, и о старой Векле.

В самом конце повести происходит мимолетная встреча Дмитрика с его отцом. Тот проезжал мимо и спросил, чей это мальчик. Получив ответ, что мальчик «капитанский», подарил ребенку гривенник. «Оксана взяла гривенник, взвела глаза к Богу – и кинула тот гривенник за окно; прижала к сердцу Дмитрика – и горько-горько заплакала!..»

О преемственной связи между «Сердешной Оксаной» и «Катериной» Шевченко писал сам Квитка. Были еще два произведения, в которых разрабатывались сходные сюжеты и

которые он, без сомнения, хорошо знал: «Бедная Лиза» Карамзина и «Эда» Баратынского. Нет нужды детально аргументировать своеобразие произведения Квитки – оно очевидно. У Карамзина и Баратынского практически отсутствует социальный аспект – и в том, и в другом случаях перед нами истории несчастной любви.

У Квитки он налицо, хотя выявлен в более мягкой форме, чем в «Катерине». Но, на наш взгляд, ни один из писателей, разрабатывавших этот сюжет, не вложил в это той напряженной эмоциональности, которую мы видим в «Сердешной Оксане». Квитка намеренно не желал скрывать остроты своих чувств. Это отразилось и в монологах, обращенных к несчастной героине, и в остроте антитез, дающей себя знать на многих страницах повести. Квитка сумел вложить в обрисовку образа Оксаны очень яркое представление о себе самом.

Третья повесть, которая, на наш взгляд, не может быть обойдена вниманием, – «Украинские дипломаты». Читатель 1840-х гг., открывший очередной номер «Современника» и увидевший в нем это название, разумеется, хорошо знал, что Украина не была государством, поддерживавшим дипломатические отношения, имевшим посольства, консульства и, соответственно, штат дипломатических работников. Не прочитав ни одной строчки озаглавленного так произведения, он загодя проникался пониманием, что речь пойдет о дипломатах в другом смысле этого слова – людях хитрых, уклончивых, скрывающих свои подлинные намерения. Позднее и Даль определит «дипломатов» как людей скрытных и изворотливых. А если этот читатель успел к тому времени получить хоть какое-то представление о творческой манере автора повести, то он скорее всего улавливал и вложенную в ее название существенную долю иронии.

Если же такое ощущение возникало, то оно получало подтверждение с первых же строк. В са5мой эпической тональности писатель сообщает, что если прежде 21 число июня месяца ни в русской, ни во всеобщей истории никаким достопамятным событием отмечено не было, то в тридцать втором году это произошло. Чтобы мы прониклись глубокой значимостью этого события, писатель сообщает, что случилось оно «в 20-й минуте двенадцатого часа до полудня, при ясном, безоблачном небе, при +20°». Оказывается, в эту минуту случилось что-то такое, что сделало этот день «навсегда заметным»: «дворовые гуси Никифора Омельяновича Тпрунькевича, не быв никем водимы, наставляемыми, подгоняемы и побуждаемы, сами собою, добровольно и самоуправно, всего счетом 13 гусей серых и белых, обоих полов и различного возраста, перешли с полей владельца своего и взошли

на землю, принадлежащую Кириллу Петровичу Шпаку, засеянную собственным его овсом». А Кирилл Петрович, «как был темперамента холерического», «не размышляя долго и не сообразив последствий, приказал тех гусей побить».

Вся трубно-фанфарная торжественность, которой проникнуто описание столь заурядного события, говорит о глубинном влиянии, которое оказал на Квитку Гоголь. Можно ли не вспомнить, в каких возвышенных выражениях, с каким обилием восклицательных предложений описана бекеша Ивана Ивановича, да и самоуправные гуси невольно вызывают в памяти «гусака», приведшего к ссоре с Иваном Никифоровичем. И фамилии подобраны значащие: «Тпру» – восклицание, которым кучер останавливает коней, а «шпак» – это скворец. Как мы увидим, фамилии героев еще сыграют свою роль в последующем повествовании. И далее сарказм рассказчика, как говорится, набирает обороты.

Никифор Омельянович на трех листах гербовой бумаги 50-копеечного достоинства описывает неслыханные обиды, ежегодно, ежемесячно, ежедневно и ежечасно творимые ему Кириллом Петровичем и завершившиеся безжалостным побитием его гусей. «Тут в подробности изочтен весь могущий быть приплод от сих тринадцати гусей, польза от мяса, потрохов, перья и пуху с них, обстоятельно выведена сумма в сложности десятилетнего дохода с процентами, и в таковой сумме подано исковое прошение». Но и Кирилл Петрович не плошал. Он на гербовой бумаге того же достоинства изложил творимые против него личные неуважения, насилия по имению, и между прочих притеснений даже самые гуси «нанесли ему обиду, выбив у него овса десять десятин; доход с них вычислен аккуратно и приведен в сложность за десять лет также с „проценты“. Сумма иску вышла гораздо значительнее, нежели у Никифора Омельяновича Тпрунькевича».

Как водится, оба склочника были так охвачены ажиотажем борьбы, что ввергли себя в расходы, несоизмеримые с теми, из-за которых затевалось дело: «не один раз каждый из спорящихся обязан был за свой счет поднимать суд, призывать понятых и угощать всех, но и писание прошений и отзывов чрезвычайно умножилось, и уже спорящимся надоело тягаться. И как не надоесть, когда с начала дела до 1837 года (т. е. за пять лет! – *Л. Ф.*) не приведено было в ясность, что потерпела одна сторона через потравку овса в поле от 13 гусей, а другая от потери сих самих гусей».

Уже начали обе стороны поговаривать о «примирии» между собою, как явился к Тпрунькевичу человек с предложением

написать новое прошение и уверял, что от того прошения Кирилл Петрович так струсит, что поспешит миром прекратить дело, заплатя искомую сумму. Прошение это, однако, имело прямо противоположные последствия. Кирилл Петрович был крайне разгневан, что именуют его не Кириллом, как следует, а «Кирилою», а главное, тем, что «взвел сие дело на Тпрунькевича из праздной жизни, подобно, как делали предки его и сам родоначальник их, занимавшийся одним давлением шпаков, т. е. скворцов, от какового занятия дано им и прозвание, а частию и потому, что оный Шпак одарен глупостию, подобно твари, птице шпаку, от чего он и есть естественный шпак».

Взбешенный Кирилл Петрович пустился в самый Чернигов и «хотя потратил много денег, но достал из Малороссийского архива все выписки и доказательства, кто именно были Шпаки, чем отличались перед ясновельможными гетманами и по какому случаю дана им сия фамилия и герб, в котором ясно изображен „спевающий шпак“, т. е. скворец поющий, имеющий разинутый рот. <…> Опровергнув всю клевету Тпрунькевича на Шпака чисто, ясно, аргументально, он начал выводить производство фамилии Тпрунькевича. И как первоначальный в ней слог есть „тпру“, то и полагал он, что родоначальник его происхождением своим обязан коню, на коего кричат „тпру“, или „уповательно“ родоначальник был цыган, коновод и проч., и проч. И такого написал в том прошении, что Никифор Омельянович чуть не лопнул с досады, перечитывая это прошение. В заключение Кирилл Петрович, или его поверенный, просил суда о личной ему и всему роду обиде и удовлетворении его за каждого обруганного предка, бесчестьем противу ранга каждого, коим он приложил и именной список с показанием службы и должностей их.

Вот тут-то и закипело дело! Следствие об овсе и гусях, яко о тварях неразумных, оставлено впредь до рассмотрения, а приступлено к спору двух умных существ, претерпевших одно от другого тяжкую обиду укорением знатности рода. Пошли писать, пишут и поныне и будут писать еще долго, долго, пока спорящие не помирятся…»

Мы обращаем особое внимание на эти три первые страницы довольно объемной повести Квитки, не содержащие и подступа к основному ее сюжету; автор сам признает, что они служат в ней «вместо предисловия», но они в ней едва ли не самые ценные, самые «гоголевские», дающие яркое представление о творческой манере Квитки-сатирика. Как своего рода предисловие можно рассматривать и последующий рассказ о характере, занятиях и времяпрепровождении Кирилла Петровича Шпака. Он дает дополнительную возможность ощутить меру иронии, вложенной

автором в название своей повести.

Он не был дипломатом не только по профессии, но и по характеру: никакой «дипломатичности» в нем не отмечено. Тот интерес, который он проявлял к политике, был весьма специфическим и характеризуется с явным сарказмом. Этот «дипломат» «очень любил заниматься политикой, и для удовлетворения своей страсти он платил архивариусу своего уездного суда, чтобы тот, по прошествии года, доставлял ему все сполна номера „Московских ведомостей“ истекшего года. Привоз сих „политических материалов“, как называл ведомости Кирилл Петрович, отрывал его от всех занятий. Он уединялся в свой „кабинет“ (не оставим без внимания и описание этой комнаты, название которой Квитка не случайно заключает в кавычки. – *Л. Ф.*) – так он называл свою особую комнату, где на столе, кроме чернильницы, песочницы, счетов и при столе стула, не было ничего более».

Потом он сшивал каждый номер и приступал к чтению, которое, подчеркивает Квитка, «у него происходило не обыкновенным, но собственно им придуманным порядком». Он сортировал прошлогодние события по странам, в которых они происходили. «Во-первых, он „отчитывал“, как он говорил, все внутренние известия и узаконения, со всеми происшествиями, по России бывшими», потом «принимался отчитывать все происходившее в Испании. Он был ревностный защитник прав малолетней королевы, а дона Карлоса со всеми карлистами не мог терпеть и бесился при удаче их. Внимательно проходя от номера к номеру дела испанские, как он был однажды взбешен на редакцию ведомостей, и вот за что: начитал он в статье об Испании, что христиносы разбили карлистов знатно. Он торжествовал и веселился – как, отчитывая Францию, нашел, что то известие о разбитии карлистов было ложное… Уж досталось же всем: и издателям, и сообщившим эту статью в Париж… „И зачем в Париж? Почему они прямо у себя не напечатали?“ – кричал он в сильном гневе. <…> Отчитавши все статьи об Испании, он принимался за Францию, по его примечанию, больше всех способствующую христиносам; потом отчитывал прочие государства и заключал Англиею, не любимую им за подвоз оружия карлистам. За политикою следовало отчитывание объявлений казенных и потом частных, все же по порядку».

В селе Шпака квартировал ротный командир, капитан Иван Семенович Скворцов. Был он молод, строен, сметлив, образован, но беден и мог устроить свою участь не иначе, как выгодной женитьбой на достаточной деревенской барышне. Он-то и положил глаз на дочь Шпаков Пазиньку, сделался своим

человеком в доме и начал помаленьку оказывать ей сначала небольшие, а со временем все более решительные знаки внимания. В девушке пробуждается ответное чувство. А тут еще горничная Дуняша, раздевая ее перед сном, говорит: «Ах, барышня, какие вы хорошенькие! Ну, как бы увидел вас теперь Иван Семенович! <…> Как он бы вас теперь увидел, то верно завтра бы и посватал». Пазинька обрывает разговор, сказав, что, дескать, хочет спать.

Но мысли ее совсем иные, и рассказывает об этом Квитка в своей, только ему присущей манере. Он обращается к героине с таким монологом: «А неправда же, Пелагея Кирилловна; вы вовсе не хотите спать. Вы встали с постели. Из шкафика своего, от которого ключ у вас на шнурочке висит на шейке, достали милую книжечку и принялись было читать… Но что-то вы читаемого не понимаете. У вас в ушах раздаются последние слова Дуняшины… Вот вы положили книжечку, ручки свои скрестили на белой, прелестной груди вашей, задумались… А о чем вы думаете, Пелагея Кирилловна, а?.. Ну, как Фенна Степановна узнает ваши мысли?.. Уф! Это предположение вас испугало, вы вскочили… Аж, боже мой! Уже солнце взошло!.. Опять вы провели ночь странно, необыкновенно!»

Как-то раз Иван Семенович, вручая Пазиньке книги, поцеловал ей ручку, потом она стала ждать и даже желать, чтобы это повторилось. «Однажды, видно в рассеянии, Иван Семенович, вместо беленькой ручки, да поцеловал Пазиньку в розовые губки», и она стала проникаться мыслью, что «если поцелуй первый дан, *должно* уже приступить к браку или, по крайней мере, условиться насчет его. Так поступил и Иван Семенович».

Однако попытка договориться с Кириллом Петровичем и Фенной Степановной закончилась неудачей. Выйдя от них, он обнял Пазиньку и «сквозь слезы сказал: „Друг мой! Родители твои не согласны… У них жестокие сердца… Но нет силы, которая бы нас разлучила… Ты будешь моею!“ И с сими словами поцеловал ее так, как обыкновенно любовники целуются при расставании надолго…»

А вот как Квитка излагает причины полученного отказа. Неудачливый жених «начал опровергать благоразумные заключения Кирилла Петровича и настоятельно доказывать, что при супружестве не должно смотреть на имущество, что богатство вздор (экой чудак!), что можно и малым быть довольну, что людей уважают не по богатству, а по внутренним достоинствам (настоящий фармазон). А когда дошло до рода Шпаков и Ивана Семеновича, так он, не обинуясь, сказал, что, может быть, род его важнее всех Шпаков и больше принес пользы… Тут Кирилл

Петрович, будучи холерического темперамента, не мог выдержать – кто бы выдержал? <…> Весьма естественно, что Кирилл Петрович и сам по себе пришел бы в вящее холерическое раздражение, а тут и Фенна Степановна усилила его своими тонкими и справедливыми замечаниями насчет дерзких слов дерзкого Ивана Семеновича. Вот потому-то и отказали ему навсегда от дому. Бедный Иван Семенович! Бедная Пелагея Кирилловна!» Однако Иван Семенович не смирился с полученным отказом и принялся действовать.

Здесь появляется новый персонаж, уже известный по пьесам Квитки, денщик по прозванию Шельменко. Напомним, что фамилия эта значащая: шельма – жулик, плут, мошенник, пройдоха. Читателям повести автор представляет его так: «В казенном селении, быв умнее всех и грамотен, он добился до того, что попал в волостные писари. Тут-то он показал все свои способности! Не было хитрее его на все пронырства и лукавства. Все заседатели земского суда *в делах важных* относились к нему за советами и руководством, и Шельменко так вел дела, что все оканчивалось чисто и гладко. <…> Иван Семенович скоро разгадал его и употреблял в разные дела по способности. В теперешнем горестном положении своем он решился сделать Шельменко доверенною особою, открыть ему все и потребовать его содействия». Следует отметить, что Квиткой были перенесены из комедии в повесть также и некоторые другие персонажи и ситуации. Как сам он заметил в письме к Ф. А. Кони, он, опасаясь театральной цензуры, «из нее (комедии. – *Л. Ф.*) слепил повесть, чтобы мое не пропадало»[103].

Конечно, это «облегченное» изложение творческой истории «Украинских дипломатов». Квитка расценивал их как самостоятельное произведение, к тому же такое, судьбу которого он принимал близко к сердцу. Когда до него дошли какие-то сведения о том, что она встретила неблагоприятный прием, он не только заинтересовался деталями, но и высказал свои возражения, притом в достаточно категорической форме. «Желательно было бы знать, – писал он Плетневу, – что признано неправдоподобными глупостями наших провинциалов, мнящих себя быть образованнейшими. Я же уверяю, что все это с натуры, до похвалы своим „необходимостям“, и не преувеличено ни одно лицо в своих понятиях. Надобно видеть их жизнь, и закулисную, и ту, где они показывают, что такое они»[104].

Потому ли, что Шельменко уже был героем комедий, или по какой-то другой причине, но многие диалоги писатель передает так, как это принято в текстах драматических произведений. (Тот же прием используется им и в повести «Маргарита Прокофьевна»,

которая была им переделана из пьесы «Ясновидящая», написанной в 1830 г. и запрещенной цензурой.) Вот начало разговора капитана с денщиком:

«И. С. Скажи мне, Шельменко, по всей справедливости: бывал ли ты влюблен?

Шельменко, *при уродливой наружности, вытянувшись неловко перед капитаном, приняв на себя глупый вид, между тем со всем вниманием смотрит ему в глаза, чтобы понять, с каким намерением спрашивают его. (Черта малороссиянина.)* Чтобы-то, будучи как, ваше благородие? <…>

И. С. Ну, любил ты кого-нибудь?

Шельм. Ох, ваше благородие! Будучи, некуда греха девать. Любил и стало быть, еще и теперь крепко люблю!»

Выясняется, что единственный предмет любви Шельменко – это деньги, что же касается девушек, объясняет он, «убыточно их любить, ваше благородие! Хоть их как хочешь, будучи, люби, а она все требует, стало быть, подарков. Оттого-то я всегда удалялся от них».

Пообещав засыпать Шельменко деньгами, капитан поручает ему передать письмо Пазиньке. События разворачиваются так, что письмо попадает совсем не туда, куда было предназначено, – к ее родителям, а денщик оказывается между двух огней. Он, однако, выпутывается из этой ситуации и втирается в доверие к Кириллу Петровичу до такой степени, что тот вводит его в «полную историю процесса с Тпрунькевичем и в каком положении находилось это дело в уездном суде. Вспомнив о всех обидах, нанесенных Тпрунькевичем знаменитым Шпакам, Кирилл Петрович выходил из себя, клялся отомстить ему за весь свой род и тут же, обращаясь к Шельменко, просил его придумать, как нанести Тпрунькевичу такую обиду, которой бы он не забыл и от которой бы не утешился во всю жизнь свою».

Квитка проводит нас через множество комедийных ситуаций, в которых участвуют и вновь вводимые персонажи повести: Тимофей Кондратьевич Лопуцковский, бесконечно рассказывающий, как он «вояжировал» из Чернигова в Воронеж и из Воронежа в Чернигов и какие где видел цены, Эвжени, изъясняющаяся на «смеси французского с нижегородским»: «Пуркуа твоя „машермер“ взяла тебя от нас?», «Имажине, моя милая машермер!», «Пуркуа же умирать?», «Ведите ее, мосье жоли офисье» и другие.

Но заканчивается повесть предсказуемо: влюбленные сочетаются законным браком. «Иван Семенович скоро после свадьбы переведен в Москву и, взяв с собой Пазиньку, продержал ее полгода у родных, а потом вывез в свет. Чудо

малороссияночка! Прелестна, мила, ловка, образованна, только природное осталось в выговоре: поко́рно про́шу, о́хотно рада, по́жалуйте и пр. Кирилл Петрович высылает им исправно положенные на прожитие деньги, и они наслаждаются жизнию».

Все хорошо? Все как надо? Квитка подспудно, но несомненно сопротивляется такому восприятию финала своей повести. Каждое его слово пронизано грустной иронией: не все хорошо, а ничто не меняется. «Кирилл Петрович читает прошлогодние газеты, все надеясь на следующей странице прочесть истребление карлистов и воцарение королевы. Зятя любит и хвалится, что этим браком род его не унижен. Он нашел в копиях из бумаг, полученных им из Черниговского архива, что первоначальный Шпак, усердием своим к ясновельможному пану гетману приобретший сие громкое звание, имел двух сыновей. Старший остался дома и размножил Шпаков; а меньшой пошел к русским. „Обмоскалясь“, род его переменил прозвание на великороссийское и стал называться „Скворцов“. – Итак, изволите видеть, – говорил он любопытствующим, – мы все одного происхождения. Процесс с паном Тпрунькевичем он ведет с постоянным жаром. С товарищем своим „по дипломатике“ Осипом Прокоповичем рассорился формально. Тот вздумал поздравить его с успехом христоносов и истреблением карлистов навсегда… „Зачем забегать вперед? Я еще не начинал газет сего года читать“. Хлопнул дверью и ушел. И с тех пор дипломаты наши не видятся».

Все по-прежнему. И вновь вспоминается Гоголь: «Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!»[105]

Глава третья
«Пан Халявский»

Мысль о создании романа «Пан Халявский» была подсказана его автору Жуковским. 26 апреля 1839 г. Квитка писал Плетневу: «В. А. Жуковский, говоря со мною о „Дворянских выборах“, советовал еще продолжать в том же тоне и с тою целью. Когда же я изъяснил трудность составить из всей этой кутерьмы правильную драму, то он мне советовал поместить и развить все это в романе, украсив и наполнив сценами из губернских обществ»[106]. Зерно упало на благодатную почву. Как сообщается в том же письме, Квитка и сам вынашивал замыслы подобного рода. «…У меня было в мысли описать малороссийскую жизнь, и воспитание, и обряды, и проч., и проч. Старинное, чего уже теперь и следов нет. Я им объявил, что будет „Халявский“. Они ухватились обеими руками, просили выслать и предложили о вознаграждении, что мне получить. <…> Я выслал им начало „Халявского“. И сам не знаю, поместят ли еще его и кстати ли он будет в журнале, но дело сделано»[107]. В письме от 13 мая 1839 г. он еще раз повторил, что «„Пан Халявский“ начат по поручению Василия Андреевича, переданного мне чрез здешнего чиновника графа Панина, чтоб описать старинный быт малороссиян, род жизни, воспитание, занятия и все, до последнего»[108].

В том же письме Квитка сообщал Плетневу: «В „Отечественных записках“ явится скоро „Пан Халявский“. Это начало и отдано еще до поступления моего в покровительство Ваше»[109]. Он говорит об этом в несколько извиняющемся тоне, потому что между «Отечественными записками» и «Современником» имела место определенная конкуренция за возможность публиковать Квитку. Краевский писал ему: «Ваши „Пан Халявский“ и „Головатый“ остаются навсегда памятниками русской литературы, не забудут их и читатели»[110]. Но Плетнев, уже напечатавший к тому времени автоперевод «Маруси», явно был ближе Квитке, который именно с ним обсуждал планы дальнейшей работы над романом.

К 9 марта 1840 г. роман был закончен, и в письме, датированном этим числом, он находится в центре внимания. «При сем является „Пан Халявский“ в 2-х частях в полное распоряжение Ваше, почтеннейший друг наш Петр Александрович! Что Вы об нем скажете и каковым его найдете, мне очень интересно. Я же должен Вам объяснить, что (оставляя в стороне 1-ю часть, которая была напечатана в две части в

„Отечественных записках“) вся вторая часть напечатана из доходивших до меня рассказов чудаков»[111].

Не будем принимать всерьез использованное Квиткой слово «чудаки». Как явствует из последующего, Квитка многократно и неустанно подтверждает именно достоверность написанного в романе, опору его содержания на факты действительности: «Первое влюбление – и за нами, грешными, было. Надгробная речь ходит по рукам как подлинное сочинение одного здесь известного протопопа. Насильное взятие в службу панычей и уход их оттуда хотя бы и без чина – это все здешние события, еще вспоминаемые стариками. Поездка в Петербург, угощение – и именно в Туле, пребывание в столице, понятие о городе, театре и все проделки, там сделанные, – все это с жаром рассказывает здешний чудак как все с ним случившееся. Раздел с братьями так бывает обыкновенно, я сам разбирал библиотеку, где всё третьи и шестые томы были, и владелец их как непререкаемый факт представлял мне, что иначе нельзя было получить: я-де был третий брат. Разломание лестниц случилось точно – и все былое. Заключение и папаша, и мамаша – это от избытка досады…»[112] «Иными словами, все, что вы прочтете, почтеннейший Петр Александрович, – чистая правда». Но и это Квитке кажется недостаточным: он советуется с Плетневым, не нужно ли дополнительных сведений на этот счет: «каких примечаний насчет некоторых приключений».

Упоминания о «Халявском» встречаются в последующих письмах неоднократно, но они не очень значимы и подтверждают главным образом тот факт, что писатель помнил о нем постоянно. Можно напомнить фразу из письма от 26 октября 1840 г., содержащую просьбу не подвергать роман взыскательной критике: «Попадется на зубки Ваши – пощадите его, сердечушку!»[113]

Роман начинается словами: «Тьфу ты, пропасть, как я посмотрю! – Не наудивляешься, право, как свет изменяется!.. Да во всем, и в просвещении, и в обхождении, и во вкусе, и в политике, так что не успеешь приглядеться к чему-нибудь, смотри – уже опять новое». Первая фраза с небольшим изменением повторяется и в самом конце, так что эта мысль словно окаймляет роман, приобретая в нем некую стержневую роль.

Вовсе немудреная, можно сказать, самоочевидная истина: все вокруг меняется – становится лейтмотивом всех рассуждений повествователя, он вкладывает ее в наше сознание неторопливо, многообразно и основательно. Сначала совсем пустяк: соседка перекрасила дом, был обмазан желтой глиной, стал белый, как бумага. Потом погоня за просвещением, об этом в дальнейшем

предстоят серьезные разговоры. Но пока речь, оказывается, не о просвещении, а об освещении: дяденька Фома Лукич не любил темноты: и дом затеял о двадцати окнах, и на количестве свечей экономить не любил. Перемены в «образовании» сводятся к тому, что «образ и подобие» у нынешних панычей не те, что были у их отцов. Изменились прически – изменилось образование. И «политика» выражается в том, как стали подходить к ручкам барышень: «политика того требует, а теперь и политика изменилася!»

Сопоставление нынешнего с прошедшим побуждает нашего героя описать главнейшие периоды своей жизни и случаи, с ним встречавшиеся: «это будет старости в наслаждение, а юности в наставление». Чтобы мы не забывали, что трактовка изображаемых событий производится по шкале ценностей, сложившейся в прошлом, наш Трофимка (Трофимушка, Трушко), как бы по усвоенному с детства обычаю, все глаголы, используемые применительно к «батеньке» и «маменьке», неизменно ставит во множественном числе: «…Чего бы только батенька ни пожелали, ни потребовали, ни приказали, маменька, как законная жена, повиновались, спешили исполнить во всей точности требуемое и приказываемое, даже и в мыслях не ворча на батеньку».

Воспитывали нас, повествует Трушко, со всем старанием и заботливостью и, правду сказать, не щадили ничего. Заботливость выражалась в неуемном питании: «хотя мы с жадностью кидались к оловянному блюду, в коем была наша пища, и скоро уписывали все, но няньки подливали нам снова и заставляли, часто с толчками, чтобы мы еще ели, потому, говорили они, что маменька с них будут взыскивать, когда дети мало покушали из приготовленного. И мы, натужась и собравшись с силами, еще ели до самого нельзя». Наш герой был у матери любимцем, и легко догадаться, в чем выражалась ее любовь: «отпустивши прочих детей, маменька удерживали меня при себе и тут доставали из шкафика особую, приготовленную отлично, порцию блинов или пирогов с изобилием масла, сметаны и тому подобных славностей».

Главное в этих обстоятельных описаниях – это их восторженная тональность. Ни одно воспоминание о прошлом не вызывает у рассказчика такого вдохновения, как воспоминания о еде. «Борщ с кормленою птицею, чудеснейший, салом свиным заправленный и сметаною забеленный – прелесть! Таких борщей я уже не нахожу нигде. <…> К борщу подавали нам по большому куску пшенной каши, облитой коровьим маслом. Потом мясо из борща разрежет тебе нянька кусочками на

деревянной тарелке и сверху еще присолит крупною, невымытою солью – тогда еще была натура: так и уписывай. Потом дадут ногу большого жирнейшего гуся или индюка: грызи зубами, обгрызай кость до последнего, а жир – верите ли? – так и течет по рукам; когда не успеешь обсосать тут же рук, то и на платье потечет».

А еще полдники, когда «нам давали молоко, сметану, творог, яичницы разных сортов – и всего вдоволь», а еще «делаемые батенькою „банкеты“! И что это были за банкеты!.. Куда! В нынешнее время и не приснится никому задать такой банкет и тени подобного не увидишь!..»

Квитка, как мастер подобных описаний, проявляет себя предшественником Гончарова. В Обломовке еда также «была первой и главной жизненной заботой». В «Пане Халявском»: «Ах, какие маменька были мастерица выкармливать птицу или в особенности кабанов!» В «Обломове»: «Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась!.. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меда, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!»[114]

Даже национальное чванство имеет гастрономическую основу. Постаревший Трофим Миронович пытается доказать, что Россия у нас, в Малоросии. «Когда какому народу хотелось попить меду, то они ехали к славянам. В великой России таких медов, как у нас, в Малороссии, варить не умеют: следовательно, мы – настоящие славяне, переименованные потом в россиян…»

Возможно, мы получим упрек, что уделяем слишком много внимания описаниям еды. Такие упреки получал и Квитка. Получал, но не принимал! «Повторение кушаньев в „Халявском“, – писал он Плетневу, – может быть, необходимо. Понимают ли они, что это желание описать прежний быт, а форма – чтобы избегнуть сухости. Все препровождение времени было в еде, в коей истощались до разнообразия. Время для горячих, молочных, холодных мяс, на все было свое время. Мне казалось необходимым выразить в подробности, что ели, когда и как»[115]. Для любящих родителей питание было важнейшей составной частью воспитания. И повествователь, хоть и не без доли иронии солидаризируется с ними в этом: «Мы были воспитаны прекрасно: были такие брюханчики, пузанчики, что любо-весело на нас глядеть: настоящие боченочки».

Надо также учесть, что те, кто упрекали Квитку за чрезмерное «повторение кушаньев», еще не были знакомы с романом в целом и не могли знать, что в дальнейшем Квитка будет ядовито высмеивать современные «рационы» и правильно оценить его насмешки можно лишь в сопоставлении с тем, как это происходило и было описано раньше.

«Наконец поставили давно ожидаемый обед. Я чуть не расхохотался, увидев, что всего-навсего поставили чашу, соусник и жареную курицу на блюде. Правду сказать, смешно мне было, вспомнив о нашем обыкновенном обеде, и взглянуть на этот мизерный обедик. <…> Начали подавать: во-первых, суп такой жиденький, что если бы маменьке такой подать, так они бы сказали, что в нем небо отсвечивается, а другую речь, поговоря, вылили бы его на голову поварке. Каков бы ни был суп, но я его скоро очистил и, чувствуя, что он у меня не дошел до желудка, попросил другую тарелку. Полковник и лучшие гости захохотали, а худшие посмотрели на меня с удивлением, а мне все-таки супу не повторили. После супу подносили говядину с хреном: я взял довольно и тем утешился. Потом подали по два яичка всмятку, какой-то соус, которого досталось только полизать, не больше; да в заключение – жареная курица. Честью моей вас уверяю, что больше ничего не было на званом, для нас, обеде. <…> Так вот вам и банкет! Вот вам и званый обед! Мы располагали сейчас ехать домой, чтобы утолить голод, мучащий нас. Могли ли мы, можно сказать купавшиеся до сего в масле, молоке и сметане, быть сыты такими флеровскими кушаньями. Вот с того-то времени начал портиться свет. Все начали подражать господину полковнику в угощеньи и пошло везде все хуже и хуже…»

Вернувшись к той же теме во второй части романа, Трушок дополняет сказанное ранее еще и таким рассуждением: «Я и обедал с ними, если можно назвать петербургские обеды обедами. Это не обед, а просто, так, ничто, тьфу! Как маменька покойница говаривали и при этом действовали. Вообразите: борщу не спрашивай, потому что никто и понятия не имеет, как составить его. Подадут тебе на тарелке одну разливную ложку супу – ешь и не проси более; не так, как бывало в наше время: перед тобой миска, ешь себе молча, сколько душе угодно. Между прочим злом, вошедшим в состав жизни нашей и называемым французским, выпустили они, плуты, еще свой соус. Что же это за соус? Кушанье, что ли? Совсем напротив: по-нынешнему называется „блюдо“. И в самом деле: блюдо-то есть, одно блюдо, да на блюде, почитай, ничего нет. Пахнет, правда, задорно; но начни получать порцию, так прямо по блюду скребешь и ничего не захватишь. Такими-то обедами петербургцы потчивают заезжих гостей. Такими обедами лакомили и меня. Что же? едва существовал, а жить – и не говори».

И вот наступает горестный для нашего героя день, когда в его жизнь входит *просвещение*, но уже не то, которое определялось числом зажженных свечей, а в своем действительном смысле – обретения знаний, когда «призван был наш стихарный дьячок,

пан Тимофей Кнышевский, и спрошен о времени, когда пристойнее начинать учение детей». С этого момента постоянно проявляется, что у батеньки и маменьки отношение к учению разное. Мера ее просвещенности памятна нам по эпизоду, упоминавшемуся прежде: когда кухарь начал ей «представлять резоны, что-де мы барана зарежем, да он весь не потребится на стол, половина останется и по летнему времени испортится: надо будет выкинуть, то получает такую рекомендацию. „Так ты вот что сделай, сказали маменька, не долго думавши: заднюю часть барана употреби на стол, а передняя пусть живет и пасется в поле, пока до случая“».

Она разделяла достаточно распространенное в кругу ей подобных мнение, что науки, как глисты, «изнурят и истощат человека», а пользы от них никакой, и потому была против того, чтобы морить бедных детей грамотою глупою и бестолковою: «Разве я их на то породила и дала им такое отличное воспитание, чтобы они над книгами исчахли». А поскольку Трушок был у маменьки «„пестунчик“, то есть любимчик, за то, что во всякое время дня мог все есть, что ни дадут, и съедать без остатков», то стала всеусерднейше просить пана Кнышевского, «чтобы бедного Трушка, то есть меня, отнюдь не наказывал, хотя бы и следовало; если же уже будет необходимо наказать, так сек бы вместо меня другого кого из простых учеников».

Зная, что пану Кнышевскому было отпущено пять локтей холста за то, чтобы он положенное Трушку наказание передавал другому, он вовсе не занимался уроком, а все его мысли были о привычном предмете – о еде. «…Две служанки от матушки принесли мне всего вдоволь. Кроме обыкновенного обеда в изобильных порциях, маменька рассудили, „чтобы дитя не затосковалось“, утешить его разными лакомствами. Чего только ни нанесли мне!»

Попытки избежать учения закончились печально, и виновный был наказан ударами линейкой по пальцам («У-у-у – как больно»), что «еще более усилило отвращение к наукам». Следующий далее с углублением в подробности рассказ о приобщении к просвещению повествователь уснащает таким обобщающим суждением: «Если сии строки дойдут до могущих еще быть в живых современников моих, то, во-первых, они не дадут мне солгать, что в век нашей златой старовины все так бывало и с ними, и с нами, и со всеми, начиная от „воспитания“, то есть вскормления (теперь под словом „воспитание“ разумеется другое, совсем противное)…»

Скепсис в отношении учения укрепляется описаниями того, как оно проходило. Определенный ментором Галушкинский на

вопрос, чем отличается грамматика от пиитики, отвечал, что грамматика есть грамматика, а отнюдь не пиитика, а пиитика есть пиитика, а отнюдь не грамматика, и спрашивал: «Поняли?»

«– Поняли! – вскрикнул я за всех и прежде всех, потому что и тогда не любил и теперь насмерть не люблю рассуждений об ученых предметах и всегда стараюсь решительным словом пресечь глубокомысленную материю».

Еда и учение противостоят друг другу как извечные и непримиримые антиподы. «Я поспешил приподнять голову… о восторг!.. На столе – пироги, вареники, яичница, словом, все то, лишение чего повергло меня в отчаяние. Я перескочил расстояние от кровати к столу и принялся… Ах как я ел! вкусно, жирно, изобильно, живописно и, вдобавок, полновластно, необязанный спешить из опасения, чтобы товарищ не захватил лучших кусочков. Иному все это покажется мелочью, не стоящею внимания, не только рассказа; но я пишу о том веке, когда люди „жили“, то есть одна забота, одно попечение, одна мысль, одни рассказы и суждения были все о еде, когда есть, что есть, как есть, сколько есть. И все есть, есть, есть.

И жили для того, чтобы есть». Бабуся поучала его: «Не тужи, если тебя не будут брать в школу; я буду тебя подкармливать еще лучше, нежели их», и «бабусины слова еще более усилили во мне отвращение к учению. И я дал себе и бабусе торжественное обещание, сколько можно реже быть достойным входа в училище, имея в виду наслаждаться жизнию». Мысль о еде как главном источнике этого наслаждения не оставляет нашего героя, присутствует во всех его суждениях. Рассказывая о смерти батеньки и о том, что похоронили его прекрасно, не упускает добавить: «А какие были поминальные обеды, так чудо! Всего много и изобильно». Описывая, как через отворившуюся дверь «выпадают сестры мои, девки, бабы, девчонки», не находит лучшего сравнения, чем «как из мешка огурцы».

Случилось так, что учению Трушка и в самом деле пришел конец, притом в трудно предвидимых обстоятельствах. Началось с того, что батенька стал спрашивать у маменьки, что им делать со своими детьми, и получил неожиданный, но продуманный и аргументированный совет – женить их. Это, по ее мнению, отвратило бы нас от разврата успешнее всякого учения. Батенька поначалу решительно возражал, но потом согласился с маменькой, чтобы прекратить никому не нужное учение. Самого же Трушка «остроумная и благоразумная мысль маменькина» восхитила, как только он ее услышал.

Вот как он рассуждает: «Какое зло принесло мне нежелание мое учиться? Совершенно ничего. Я так же вырос, как бы и

ученый; аппетит у меня, как и у всякого ученого. Влюблялся в девушек и был ими любим так, что ученому и не удастся; причем они не спрашивали меня о науках – и у нас творительное, родительное и всякое производилось без знания грамматики. В службе военной незнание наук послужило мне к пользе: меня, не удерживая, отпустили в отставку; иначе лежал бы до сих пор на *поле чести*. Зато теперь жив, здоров и всегда весел. Не потребовалися науки и при вступлении моем в законный брак с нежно любящею меня супругою, с которою – также без наук – прижито у нас пять сыновей и четыре дочери живьем. <…> Вот эти-то обучения, эти научения переменили весь свет и все обычаи. Просвещение, вкус, образованность, политика, обхождение – все не так, как бывало в наш век. Все не то, все не то!.. вздохнешь – и замолчишь».

В дальнейшем это противопоставление расширится, приобретет прямо-таки философскую масштабность: «Вхожу в подробности, конечно, излишние для теперешних молодых людей; они улыбаются и не верят моему рассказу, но мои современники ощущают, наверно, одинаковое со мною удовольствие и извинят мелочи воспоминаний о такой веселой, завидной жизни. Часто гляжу на теперешних молодых людей и с грустным сердцем обращаюсь ко всегдашней мысли моей: „как свет переменяется!“ Так ли они проводят свои лучшие, золотые, молодые годы, как мы? Куда!»

«Всегдашнюю» свою мысль автор повторяет многократно. Но вот содержание его рассказа убеждает в обратном. Коренные пороки прошлой жизни: чинопочитание, мздоимство – никуда не делись. Вот картина нынешних нравов. Галушкинский везет детей Халявских на учение. Замечательна инструкция, которую он дает воспитанникам: «Вашицы, не забывайте, что начальник есть все, а вы – ничто. Стоять вы должны перед ним с благоговением; одним словом, изобразить собою —? – вопросительный знак и премудрые его наставления слушать со вниманием. <…> Угодно будет ему полунощь признать полуднем? Сознавайся и утверждай, что солнце светит и даже печет. Благоволит глагол обратить в имя? Bene – признавай и утверждай. Его власть и сила». К уроку послушания подмешан и урок лицемерия: «… Учителя уважайте и относитеся как бы к самому начальнику; но – при глазах самого реверендиссиме – учителя уже не ставьте ни во что».

При этом наставник проявляет неплохую осведомленность об индивидуальных качествах своих воспитанников: «Ходя по рынку, не решайтеся ничего своровать; а наипаче вы, домине Павлуся, имеющие к тому великую наклонность: здесь не село, город,

треклятая полиция тотчас вмешается». Воспитанники ценят сказанное им по достоинству, они так тронуты полученным назиданием, что обещают «при изъявлении вечной благодарности все его мудрые правила <…> навек запечатлеть в наших сердцах и следовать им».

Далее следует необыкновенная по своей выразительности сцена, показывающая, что поднаторевший в господствующих нравах Галушкинский, обучая своих воспитанников беспрекословному повиновению, на деле знает надежное средство, чтобы управлять решениями начальника, и, демонстрируя свое умение, подает пример подрастающему поколению. Чтоб добиться желаемого результата, он начинает «действовать». (Это слово заключает в кавычки Квитка, чтобы от нас не ускользнула сквозящая в нем ирония!) «Первоначально внес три головы сахару и три куска выбеленного тончайшего домашнего холста.

Начальник сказал меланхолично: „Написать их в синтаксис“.

Домине Галушкинский не унывал. Поклонясь, вышел и вошел, неся три сосуда с коровьим маслом и три мешочка отличных разных круп.

Реверендиссиме, приподняв голову, сказал: „Они могут быть и в пиитике“.

Наставник наш не остановился и втащил три боченочка: с вишневкою, терновкою и сливянкою.

Начальник даже улыбнулся и сказал: „Впрочем, зачем глушить талант их? Когда дома так хорошо все приготовлено (причем взглянув на все принесенное от нас домашнее), то вписать их в риторику“».

Сообразительный Трушок, видя, какими средствами достигается их продвижение по научной стезе, делает логичный вывод: «О, батенька и маменька! <…> Зачем поскупились вы прислать своей отменной грушевки, славящейся во всем околодке? Нас бы признали прямо философами, а через то сократился бы курс учения нашего, и вы, хотя и вдруг, но, быть может, меньше заплатили бы, нежели теперь, уплачивая за каждый предмет!»

Но главный, обобщающий вывод вложен в следующий монолог героя романа, и здесь сарказм Квитки достигает высшей степени: «О благословенная старина! Не могу не похвалить тебя! Как было покойно и справедливо. Например, дети богатых родителей – зачем им беспокоиться, изнурять здоровье свое, главнейшее – истощать желудок свой, мучиться вытверживанием тех наук, которые не потребуются от них через весь их век? Подарено – а подарить есть из чего, – и детям приписаны все

знания и приданы им ученые звания без потерь времени и ущерба здоровья… Теперь же? Мороз подирает по коже! Головы сахару, штофы, боченки, хотя удвойте их – ничто не доставит вовсе ничего!»

Конечно, Квитка хитрит. Он обращается к читателю-другу, который поймет его правильно. Вопреки утверждениям повествователя о том, как «свет изменяется», содержание того, что он повествует, свидетельствует об обратном: никаких существенных перемен не происходит. Сам Трушко, сравнивая новомодных гувернеров с учителями типа Галушкинского, вынужден признать: «Оно одно и то же; только те бывали в халатах и киреях, а эти во фраках; те назначали себе жалованье в год единицами рублей, а эти тысячами. <…> Польза от них одна и та же: Галушкинские ничему не учили, не знав сами ничего, а преподавали один бурсацкий язык, а гувернеры не учат ничему за незнаньем ничего, а преподают один французский язык. Одно, одно и то же…» И даже представитель молодого поколения двенадцатилетний внук Гого в ответ на угрозу проклясть его за непочтительность, исключить из рода Халявских и лишить наследства, цинично заявляет: «Последнее только и опасно».

Еще несмышленышем Павлусь заявил: «Ах, душечки, братцы и сестрицы! Когда бы вы скорее все померли, чтобы мне не с кем было делиться и ссориться». А Петрусь после смерти Павлуся утешает Трушка: «Теперь нам, когда батенька и маменька помрут, не между шестью, а только между пятью братьями – если еще который не умрет – должно будет разделяться имением».

Когда же дело дошло до дележа отцовского наследства и любящие братья не могли договориться о судьбе сада с пасекой, прудом и мельницей, они не нашли ничего лучшего, как, «досадуя один на другого и не желая, чтобы кто из нас получил выгоду от того хуторка, решили: лес и сад изрубить, пчел перебить и медом разделиться, плотину уничтожить. Каждый из нас торжествовал и в глаза шипел друг другу: „А что взял? Воспользовался садочком, медком от пчел?“».

Собираясь жениться, Трушко подыскивает себе избранницу «по количеству и качеству их достоинств». Под достоинствами подразумевается движимое и недвижимое имущество, отсутствие наследников, чтобы ни с кем не пришлось делиться. «Воспитание», как мы уже видели, определяется «питанием»: девка должна быть полная, крупная, вскормленная и вспоенная, «образована» – значит, имеет во что нарядиться и «дать себе образ, или вид, замечательный».

Трушко не раз подчеркивает древность и значимость своего рода, упоминает пышный герб и вензеля дедов и прадедов,

украшавшие фамильные бокалы и подносы. Жениться на девушке не из потомственной дворянской семьи он считает унижением: «Скажу признательно, т. е. по совести: брак этот казался мне унизительным для текущей во мне знаменитой крови древнего благородством рода Халявских». К моменту, когда говорятся эти слова, мы уже достаточно осведомлены о том, что представляет собой произносящий их персонаж, чтобы эти претензии вызвали у читателя лишь презрительную усмешку.

Но лишь во второй части романа раскрывается настоящая генеалогия рассказчика, кичащегося благородной кровью: «Роду знатного: предок мой, при каком-то польском короле бывши истопником, мышь, беспокоившую наияснейшего пана круля, ударил халявою, т. е. голенищем, и убил ее до смерти, за что тут же пожалован шляхетством, наименован вас-паном Халявским, и в гербовник внесен его герб, представляющий разбитую мышь и сверх нее халяву – голенище – орудие, погубившее ее по неустрашимости моего предка».

Мы видим также, что чин подпрапорного добыт отцом героя не в сражениях и походах, а обхаживанием, угощением и одариванием спесивого полковника, которому под разными предлогами делаются разные подношения – от золоченых кубков до чистокровных жеребцов и откормленных бугаев. Так покупалась легенда о вельможном и знатном происхождении.

Однако, когда полковник после нескольких банкетов пожаловал батеньку в подпрапорные, тот пришел в ярость и стал выговаривать полковнику, что «они служить не желают, избегая от неприятеля наглой смерти, что они нужны для семейства и что долго верхом ехать не могут – тотчас устанут». Пришлось полковнику его уговаривать, что его военная служба будет фикцией и ему никогда в поход идти не придется.

Еда и учение занимают много места в рассуждениях Трушка, но есть и то, о чем говорится вскользь. В двух словах описано обращение папеньки с маменькой: «Ну не наше дело рассуждать, а знает про то кофейный шелковый платок, который не раз в таком случае слетал с маменькиной головы, а бывало, вылетала от мужа, теряя епанечку свою».

Наш герой, конечно, осведомлен и о помещичьих расправах с крепостными, но пишет об том мало, потому что его это мало интересует: «Маменька было из другой комнаты кивнут пальцем на виновную – а иногда им и покажется, что она будто виновата, – так, вызвавши, схватят ее за косы и тут же – ну, ну, ну, ну! – да так ее оттреплют, что девка не скоро в разум придет». Или: «Беда ключнику, если кубки не полно нацежены, беда булочнице, если булки нехорошо испечены; кухарке, если страва

(кушанье) для людей не так вкусно и не в достатке изготовлена». Все это воспринимается как норма. Если бы приниженное положение женщины в семье или расправы с крепостными занимали важное место в размышлениях Трушка, это был бы не Трушко.

Свои представления об идеале семейных отношений он изложил с вообще ему присущей полной откровенностью: «Ум в супружестве для жены не нужен; это аксиома. Если и случилось бы жене иметь частичку его, она должна его гасить и нигде не показывать; иначе к чему ей муж, когда она может рассуждать?»

Нет сомнения в том, что образ Халявского выписан пером сатирика, и число подтверждений этого можно умножать до бесконечности. Но нужно видеть и другое. В его описании нет-нет да и проскальзывают нотки симпатии. Читатель не раз и не два разделяет положительные эмоции своего героя и сопереживает ему в его огорчениях. Мы испытываем сочувствие к Трушку, когда учитель больно бьет его линейкой по пальцам и даже когда он остается голодным после званого обеда.

Двойственность отношения Квитки к Халявскому и симпатия, которую он по крайней мере временами вызывает у автора, могут быть нами глубже осознаны в свете рассуждений, содержащихся в письме М. С. Щепкина к Гоголю от 22 мая 1847 г.: «…Я изучал всех героев „Ревизора“, как живых людей; я так видел много общего, так родного, я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще – это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. Видите ли, какое давнее знакомство? Вы из целого мира собрали несколько человек в одно соборное место, в одну группу; с этими я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я вам их не дам! Не дам, пока существую. После меня переделайте хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог»[116].

Отметим, что для усиления и обострения своей мысли, которая могла бы показаться парадоксальной, Щепкин называет преимущественно второстепенных героев: Добчинского, Бобчинского и даже Держиморду. У Квитки было намного больше оснований сказать, что он «совершенно сроднился» со своим Трушком и что он ему дорог. Но, может быть, еще важнее другое. В иных рассуждениях о пороках современного общества из-за

спины дурака Халявского выглядывает умный и наблюдательный Квитка. Один из наиболее показательных примеров – рассуждение Трушка о свойствах поколения, которое позднее стали называть лишними людьми.

«Пан Халявский» писался одновременно с «Героем нашего времени», и нет никаких оснований выискивать в нем ни перекличку, ни полемику с романом Лермонтова. Но печоринский дух, печоринская философия, мироощущение человека печоринского поколения уже не первый год витали в воздухе, и в рассуждениях Трушка появляются прямо-таки скрытые цитаты из произведений о лишних людях и из критики этих произведений. Вслушаемся в такое суждение: «Они рабы собственных, ими изобретенных правил; они, не живя, отжили; не испытав жизни, тяготятся ею! Не видав еще в свой век людей, они уже удаляются от них; не наслаждаясь ничем, тоскуют о *былом,* скучают настоящим, с грустью устремляют взор в будущность… Им кажется, что вдали, во мраке мерцает им заветная звезда, сулит что-то неземное… а до того они, как засохшие листья, спавши с дерев, носятся ветром сюда и туда, против их цели и желаний!.. Так ли мы жили? Мы наслаждались, а они не живут и грустят!..»

Еще в середине 1820-х гг. Кюхельбекер в вызвавшей оживленную полемику статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» писал: «Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях»[117]. Но тогда эти настроения находились лишь в начальной фазе своего развития: Кюхельбекер не столько отражал настоящее, сколько прозревал будущее: в последующие 20–30 лет они получили широчайшее распространение, прежде всего в поэзии, но также и в прозе, в том числе в эпистолярной. Предощущал наступающую эпоху и Пушкин, когда писал в 1822 г., что в герое своей поэмы «Кавказский пленник» «хотел изобразить это равнодушие к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века»[118].

Служившие реальными прототипами (в широком понимании этого слова) Печорина, Рудина и Бельтова, а таковыми были в свое время и Герцен, и Огарев, и Бакунин, и Станкевич, и Белинский, каждый по-своему считал, что «вдали, во мраке мерцает им заветная звезда, сулит что-то неземное». Вот признания Огарева: «Нет, мы не умрем, не отметив жизнь нашу резкой чертой»[119]. «Передо мной лежит будущее, бесконечное

tabula rasa, мы напишем на ней дела великие»[120]. А вот Бакунин: «О, я способен на великие дела, я это чувствую…»[121] «Передо мной широкое поле, и моя участь – не жалкая участь»[122]. «… Непобедимая вера в ту невидимую силу, которая <…> *ведет путем незримым* к какой-то высокой цели…»[123] владела и душой В. С. Печерина. Как отмечал П. В. Анненков, и Огарев, и Герцен, и Станкевич, и Белинский «одинаково считали себя орудиями высших сил и тщились содержать себя в чистоте, приличной избранникам Промысла»[124].

Отмеченные Халявским недуги его современников, которые «не живя, отжили», «скучают настоящим» и т. п., выявились в их пристрастии к рефлексии, к размышлению, к самоанализу, к резонированию. «Наш век есть век сознания, философствующего духа, размышления, рефлексии»[125], – писал Белинский, а состояние своего духа называл «страждущим, рефлектирующим, резонерствующим»[126]. Отсюда настойчивая тяга к сравниванию себя с Гамлетом. «Мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем…»[127] «Гамлет – ведь это же чисто я»[128], – заявлял Огарев. «Мы все слабы, все Гамлеты»[129], – признавался Бакунин.

Если мы сумеем отвлечься от различий в тональности тех обвинений, которые предъявляли к людям 1830-х гг. Халявский и Печорин, то убедимся, что и в них немало общего. Герой Лермонтова, не наслаждаясь ничем, тоскует о *былом,* скучает настоящим и с грустью устремляет взор в будущность: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни»[130].

Даже мельком оброненное Халявским сравнение своих современников с засохшими листьями, которые, спавши с дерев, носятся ветром сюда и туда, против их цели и желаний, в то время, можно сказать, витало в воздухе. Это был стержневой образ прославленной элегии Ш. Мильвуа «Падение листьев», подхваченный и многократно повторявшийся в стихах русских поэтов:

> Когда осенний лист, на мшистый дерн упавший,
> Вечерний ветр несет, из дола в дол крутя;
> Тогда и я зову, как он, уже увядший:
> О ветры бурные, несите с ним меня[131].

П. Новиков. Мой призрак

Как ветер полевой опавшими листами
Играет на лугах по прихоти своей,
Так водит нас судьба вдоль жизненных путей[132].

П. Плетнев. Воспоминание

Листок валится за листком,
Так вянут наслажденья[133].

П. Шкляревский. Осенний вечер

Вслед за этим «лирическим отступлением» следует сцена, которой Квитка придает такое значение, что использует лишь изредка применяемое особое средство: несколько раз начинает абзацы знаком NB. Новый наставник детей Халявских, домине Галушкинский, учил их так передать мысли свои, чтобы этого не поняли другие и открыл им таинственный бурсацкий язык, отросток трудного, неудобопонимаемого латинского языка. Когда ему нацедили крохотную рюмочку вишневки он сказал брату Трушка Павлусю: «„Домине Павлуся! Не могентус украдентус сиеус вишневентус для вечеиицентус?“ А брат без запинки отвечал: „Как разентус; я украдентус у маментус ключентус и нацедентус из погребентус бутылентус“».

Батенька пришел в такой восторг от Павлусеного владения иностранным языком, что налил наставнику большую рюмку вишневки, чем вызвал недовольство жены, которой была свойственна патологическая скупость: она считала Галушкинскому каждую лишнюю ложку супа или каши, каждую сожженную свечу, а тут такое расточительство! У нас, дескать, вишневки не море, а только три бочки. Батенька ей, что он не только рюмку вишневки, а всю вселенную готов отдать такому учителю, и получает ответ: «Вселенную как хотите, мне до нее нужды мало. <…> Кому хотите, тому ее и отдавайте: не мною нажитое добро, но вишневкою не согласна разливаться». Батенька вне себя от радости, что его дети говорят «на иностранном диалекте», внушает ей, что она «не знает в языках силы», и слышит встречное замечательное обвинение: «Видите, какие вы стали неблагодарные, Мирон Осипович! А вспомните, как вы посватались за меня, и даже в первые годы супружеской жизни

нашей вы всегда хвалили, что я большая мастерица приготовлять, солить и коптить языки; а теперь уже, через восемнадцать лет, упрекаете меня, что я в языках силы не знаю».

Повествователь сопровождает эти слова собственным комментарием, и это одно из тех мест, которые сопровождаются пометой NB: «Маменька имели много природной хитрости. Бывало, как заметят, что они скажут какую неблагоразумную речь, тотчас извернутся и заговорят о другом. Так и тут поступили: увидев, что невпопад начали толковать о скотских языках, так и отошли от предмета». Впрочем, он не преувеличивает и собственной эрудиции: сказав, что Петрусь «отвечал *бойко и отчетисто*», добавляет в скобках: «слова, мною недавно схваченные в одной газете, а смысла их я совсем не понимаю».

Характерно и другое признание: когда пришла пора уезжать в город и «еще с вечера отъезда нашего маменька начали плакать, а с печального дня „голосить“ и оплакивать нас с невыразимо трогательными приговорами», чему посвящены мысли ее сына? «…Меня одолела сильная грусть по причине, что я забыл свои маковники в бумажке, для дороги завернутые и оставленные мною в маменькиной спальне на лежанке. Заторопился и забыл. Тоска смертельная!»

«Благословенная старина» восхваляется за то, что, как указывалось ранее, «было покойно и справедливо. <…> Бедные молодые люди теперешнего века! Хоть тресните, а должны все науки выучить, как буки аз – ба. <…> Где ты, блаженная старина?.. Грустно!..» Писатель, уже завершающий свой немалый творческий путь, уверяет нас, что книги пишутся, «чтобы нас усыплять. И правду сказать, как усыпляют! <…> Меня и простой сказочник так же усыпит, как и лучшая повесть или роман в четырех (уф!) частях».

Реакционная критика выступила с нападками на роман и вообще против «школы малороссийских повестей» (имея в виду в первую очередь Гоголя и Квитку), и это только подтверждает обличительное значение произведения. Квитка болезненно реагировал на нападки и даже поговаривал о прекращении литературной деятельности, но поддержка прогрессивной общественности помогла ему преодолеть эти упадочнические настроения.

Рецензент «Русского вестника», каковым был скорее всего редактор-издатель журнала Н. И. Греч, противопоставлял романы Квитки его ранним произведениям. По его словам, «„Маруся“ Основьяненка поражала прелестью простоты и самою новостью картин быта малороссийского, дотоле искаженного для нас или

вовсе нам неизвестного. Здесь следовало бы остановиться автору. Но – суди Феб журналистов!.. Они не дали покоя Основьяненку; они расщипали, растащили, измучили его. Он увлекся – поднял свои старые *претензии* на авторство, начал писать комедии и романы, не понял того, что составляло прелесть его Маруси, взгромоздился опять на литературные подмостки. <…> И в „Пане Халявском“ и в „Похождениях Столбикова“ видно, как везде, дарование автора там, где он рисует просто с натуры, где не думает *авторствовать* – прелесть! Прочитайте описание быта малороссийского и обедов в старое время у панов малороссийских в Халявском или изображение скупца в Столбикове. Но общая связь обоих романов напоминает старую фактуру несносных *похождений,* которые некогда бывали в моде, когда являлись *похождения* Мирамонда, *похождения* Дмитрия Магушкина, *похождения* маркиза Глаголя и тма других *похождений*»[134].

Несравненно более агрессивен и язвителен был О. И. Сенковский, манера и стиль которого со всей несомненностью проступают в рецензии, появившейся в «Библиотеке для чтения». Общий «запев», с которого она начинается, выглядит так: «Эти глубокомысленные наблюдения над человеческим сердцем, делаемые из-за плетня, эти черты нравов, подмеченные между маслобойней и скотным двором, эти взгляды на „жизнь“, обнимающие на земном шаре великое пространство пяти верст в радиусе, этот „свет“, составленный из шести соседей, эти колкие сарказмы над борьбой изящества и моды с дегтем и салом, эти насмешки над новым и новейшим, которых даже и не видно оттуда, где позволяют себе подшучивать над ними, весь этот дрянной, выдохлый губернский яд, которого боятся даже и мухи…»[135] и так далее в том же духе.

А в дальнейшем следуют уже прямые оскорбления: «Я назвал его писателем, и тут же извиняюсь в невольном злоупотреблении слова: это произошло от того, что какой-то литературный круг, который я очень уважаю и которому очень нравится ум господина Основьяненка, а иные говорят просто *Основаненко* (намеренный курсив призван усилить жалящую иронию. – *Л. Ф.*), старается выдать его за примечательного русского писателя»[136].

Совсем по-другому и глубже, чем кто-либо из его современников, роман Квитки оценил Белинский. Правда, произошло это не сразу. Первый отклик, содержащийся в письме к Краевскому и, следовательно, оставшийся неизвестным Квитке, был достаточно скептическим. «„Пан Халявский“, – писал он, – для первого чтения потешен и забавен, но при втором чтении с него немного тошнит. Это не творчество, а штучная работа, сбор

анекдотов, словом, возведение идеи малороссийской жизни до идеала, если под идеалом должно разуметь, вместе с французами, собрание воедино всех черт, рассеянных в природе и относящихся к одному предмету»[137].

Но год спустя появляется рецензия, в которой отразился другой, более проницательный взгляд на произведение Квитки. Критик писал: «Остроумному Основьяненко пришла в голову счастливая мысль – сравнить прошедшее время с настоящим, заставив человека прошлого века рассказывать про жизнь своих „дражайших родителей“, свое воспитание и про всю свою жизнь. Этот человек – род малороссийского Митрофанушки, и он выполнил задачу автора как нельзя лучше: словно на ладони вы видите почтенную старину, преисполненную невежества, лени, обжорства и предрассудков; видите, как глупый муж бьет свою глупую жену и тузит детей; как глупая мать насмерть закармливает своих деток, а детки дерутся друг с другом за всякий кусок, обманывают отца и мать и, выросши, заводят друг с другом процессы и творят друг другу всевозможные обиды. Краски Основьяненка живы, картины уморительно смешны, и, несмотря на то, что местами его рассказ слишком обстоятелен, занимательность нигде не ослабевает»[138].

Из написанного о «Пане Халявском» в XX веке к самому тонкому и проникновенному принадлежит маленькая вступительная статья к отдельному изданию романа, автором которой был Феликс Кривин[139]. И неудивительно: ведь это был единственный случай, когда сатирика анализировал другой сатирик, способный взглянуть на объект анализа изнутри, с опорой на собственный творческий и гражданский опыт.

Кривин напоминает о письме Квитки к Плетневу, в котором писатель выражает радость, что его роман «Жизнь и похождения Столбикова» не будет печататься, и объясняет это тем, что «дворяне, судьи, предводители, полицейские, советники, казначеи, содержатели пансионов и все поименованные характеры, коих лица, носящие названия сии, примут на себя и я от них нигде покоя не найду. <…> Все спрашивают меня: на кого я метил? Не на того ли, не на другого ли? <…> А полиция что скажет? А мелкое дворянство? Ужас, ужас и ужас!»[140]

«„Что скажет полиция?“ – повторяет Ф. Кривин и продолжает: – Этот красноречивый вопрос содержит в себе ответ на многие вопросы. Он свидетельствует не только о нелегкой судьбе писателя, вынужденного за каждой фразой оглядываться на полицию, но и о признании огромной роли литературы, на усмирение которой мобилизованы самые мощные государственные учреждения.

Трушко Халявский мог бы напомнить своему автору весьма ироническое и, признаться, довольно смешное описание подвигов братьев Халявских: „Петрусь <…> одушевленный храбростью и неустрашимостью, пустился бежать что есть духу. Почтенный наставник, разжигаемый тем же духом мужества, бежал вместе с ним. Павлусь тоже пустился было по следам храбрых, но, как был слабосилен <…> не мог никак бежать за героями“.

Трушко мог бы напомнить автору это место, он мог бы спросить словами своего современника, почтенного человека, осмеянного другим автором, из нынешних, молодых: „Чему смеетесь, Григорий Федорович? Не над собой ли смеетесь? Разве для того вы подняли меч, чтобы бежать с этим поднятым мечом от врага, и даже не от врага, а от своего же собственного романа?“»

Так мог бы спросить Трушко Халявский, но «не спросит, потому что минувший век таких вопросов не задает. Такие вопросы задает будущий век, спрашивая с писателя по всей строгости. Но, осудив писателя за проявленное малодушие, он не забудет и величия его души, и величия его дела, и всего, что может служить не минувшим, а будущим векам»[141].

Продолжая кривинское противопоставление содержащихся в романе наблюдений и суждений тому объективному смыслу, который оно приобретало, можно обратиться и к другому материалу. Когда Квитка многократно утверждает, что, «сравнивая прошедшее с давно прошедшим, а настоящее со всем вообще прошедшим, увидел большую разницу», а разница, в действительности, совсем не большая, когда писатель, восхваляя минувший век, по существу обличает его этим восхвалением, это, видимо, входило в авторский замысел.

Но обратим внимание на то, что в «Пане Халявском» нет ни одного положительного героя: не увидел Квитка луча света в темном царстве! Жуковский явно ориентировал его на иное, «советовал поместить и развить все это в романе, украсив и наполнив сценами из губернских обществ». «Украсив»! Конечно, имелось в виду и наличие достойных подражания лиц, и соответствующих ситуаций.

Квитка, разумеется, уловил отличия рекомендаций Жуковского от реализации их в «Халявском» и свою позицию объяснил так: «Тут я уцепился за прежнюю мою мысль: добродетельных людей, честных чиновников и вообще исполняющих свое дело к чему описывать? В порядке идущие времена года, постепенное их изменение, польза, ими приносимая, как бы ни было все это описано, – не займет нас, потому что мы сами все видим. Но ураганы, вырывки из порядка

и все необыкновенности – это должно описывать»[142].

Это писалось Плетневу, близкому другу, так что искренность этих рассуждений не может быть подвержена сомнению. Получалось, что добродетельный губернатор в «Козырь-девке», решительно вмешавшийся в ход дела и поставивший все на свои места, – это явление столь же закономерное, как смена времен года и польза ею приносимая, а все предшествующие действия целой череды административных и судебных чиновников, едва не погубивших невинного человека, – это вроде непредвидимые катаклизмы, «вырывки из порядка», «необыкновенности».

Может быть, Квитке субъективно и хотелось, чтобы картины, нарисованные им в «Пане Халявском», тоже воспринимались как необыкновенности и вырывки из порядка. Но писатель-реалист, уже возвысившийся до сатиры гоголевского толка, взял в нем верх. Не оказалось места для добродетельных людей и восхищения приносимой ими пользой. Квитка пошел против собственных установок и пошел к правде.

Глава четвертая
Похождения Столбикова

Если справедливо утверждение древних, что книги имеют свою судьбу, то нельзя не признать, что ни одной книге Квитки не выпала такая богатая перипетиями и запутанная судьба, как той, которая в конце концов была издана под названием «Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах. Рукопись XVIII века». От первых дошедших до нас упоминаний о замысле этого произведения до его издания прошло восемь лет. За это время были созданы три редакции романа, из которых лишь последняя вышла в свет. От первой редакции до нас не дошло практически ничего, от второй – несколько отрывков.

Как известно, во второй половине 1820-х гг. писатель был поглощен драматургией, но когда решил обратиться к прозе, то это очень скоро вылилось в обращение к большой эпической форме. Отзвук этих размышлений слышится в письме к Погодину от 2 июля 1832 г.: «…Много есть предметов, за которые хотелось бы приняться, но должность отвлекает. Много еще есть такого, о чем бы надобно возопить перед правительством»[143]. Что это были за предметы, можно только предполагать, но очевидно, что изначально созревало стремление представить их в оппозиционном, обличительном, возможно, сатирическом аспекте.

Спустя полтора года Квитка отправляет Погодину начало романа с очень эмоциональным письмом, свидетельствующим о горячей заинтересованности судьбой этого произведения и приемом, который ему суждено встретить. «Исповедуюся и каюся! Дерзнул аз, окаянный, обивать целое книжище! Без путеводителя, советника и наставника плохо, хотя мыслишка и есть, но обработать ее свыше сил моих. Если имеете терпение, взгляните строгим оком на рукопись, которую вам доставит А. В. Глазунов, это – „Жизнь и похождения Петра Пустолобова. Рукопись XVIII в.“. Умоляю Вас, скажите беспристрастный суд Ваш: пускать ли этого молодчика в белый свет? Ласково ли примут его *родственники*? Сам вижу и знаю, что слог, хотя и отвечает времени, в которое писано, но все-таки должен быть не так шероховат, тяжел и неудобен. <…> Итак, рассмотрев и посудив о моем *Петруше,* скажите чистосердечно: годится ли он явиться в число добрых людей по *цели* и стоит ли *она* того, чтобы озаботить кого выправкою и начисткою слога и на каком условии, ибо

всякий труд требует времени, а время должно быть вознаграждаемо. Мой же чудак как начал свою жизнь от рождения – и довел ее со всею подробностию до старости!!. Ни больше ни меньше, наберется ее книжек восемь!!! От Вашего – и еще кому угодно будет показать – суда зависит участь этого хватика, имеющего многочисленную родню, как сами увидите; ежели оно что-нибудь похоже на путное, тогда можно одолжить меня помещением и в „Телескопе“ отрывков, и я по сему сигналу вышлю и вторую книжку, которая уже готова, а судя по ходу дела, не поленюся и последующие поставлять. Только и испрашиваю суда, суда строгого, нелицеприятного и приговора решительного, и все относительно к цели и расположению, а в очистке помогите»[144].

Здесь многое значимо и заслуживает внимания: и взволнованный тон, выразившийся и в наличии повторений, и в обилии восклицательных знаков, и – что, может быть, особенно важно – сосредоточение внимания на цели, поставленной перед произведением. Незадолго до смерти, уже после издания обоих романов Квитка написал статью, которая была в 1849 г. опубликована И. Ю. Бецким в «Москвитянине» под заглавием «Г. Ф. Квитка о своих сочинениях» и с примечанием: «Из оставшихся бумаг».

В ней настойчиво проводится мысль: «Не только мы, но и отличнейшие писатели не равны в своих сочинениях. Пишется, что Бог на мысль послал, была бы цель нравственная, назидательная, а без этого как красно ни пиши, все вздор, хоть брось. Пиши о людях, видимых тобою, а не вымышляй характеров небывалых, странных, диких, ужасных… <…> Пишите собственное, не отыскивайте стародавних, чужеземных брошюрок для обработки их по-своему и выдачи за свое, будто уже читающие так темны, что не отыщут и не разгадают, не поймут, что это только перевод с вашим украшением»[145].

И, прилагая этот принцип ко всему им сочиненному, Квитка в первую очередь думал о «Столбикове». Далее он говорит: «Так в „Столбикове“, „Халявском“, в каждой моей повести, где расчеты сзади (?)[146] не входят, я старался показать цель, для чего и почему пишу; удалось ли, не мое дело судить. Сравнивал Столбикова с Совестдралом и другими известными Гг. издателям Рус.<ского> Вестника похождениями, потому что и Столбикова похождения?.. Ох, Господи Боже мой! А на цель-то вы, Гг., и не взглянули?»[147]

Очевидно, что именно убеждение в нравственности и назидательности цели «Столбикова», в том, что он писал о людях, видимых им, а не «вымышлял небывалых характеров»,

стимулировало страстное стремление продолжать работу над вещью и «поставлять» последующие части. Не оставим без внимания и исполненные симпатии и даже ласки упоминания о главном герое: «мой Петруша», «мой чудак», «хватик», «мой малютка»[148]. Впоследствии и после превращения Пустолобова в Столбикова мы уже таких нежностей не услышим. Напротив, появится такая, например, характеристика: «Он простачок, не получивший образования, чудно́ мыслит, будто понимает дело, но превратно от общих разумений»[149].

Несомненно, на решение Квитки обратиться к жанру нравоописательного романа повлияли те попытки, которые к тому времени уже предпринимались в литературе, прежде всего привлекший к себе большое внимание роман В. Нарежного «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Нарежный, как и позднее Квитка, тоже считал, что есть многое, о чем «надобно возопить перед правительством», и нарисованная им картина самоуправства и развращенности дворянства перерастала в приговор всему тогдашнему общественному строю.

Известно, с какими цензурными препонами и противодействием властей пришлось столкнуться этому произведению. Хотя еще до официального представления в цензуру автор сделал ряд купюр и внес изменения эзоповского характера, министр народного просвещения А. К. Разумовский нашел в вышедших трех частях «многие предосудительные и соблазнительные места», на четвертой части печатание было остановлено, а первые три выпущенные весной 1814 г. – запрещены к продаже. Цензоров категорически не устраивало, что все без исключения лица дворянского и высшего сословия описаны самыми черными красками, а многие из простолюдинов предстают честными и трудолюбивыми людьми. Впервые подлинный текст «Российского Жилблаза» был издан лишь в 1938 г.

Другим произведением, повлиявшим на творческие планы Квитки, был нашумевший роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин», отрывки из этого произведения печатались уже в 1825–1827 гг. в журнале «Северный архив» под названием «Иван Выжигин, или Русский Жилблаз», а его отдельное издание появилось в 1829 г. с несколько измененным названием «Иван Выжигин. Нравственно-сатирический роман». Откровенно реакционная тенденциозность этого произведения была Квитке совершенно понятна и глубоко чужда.

Уже в письме к Погодину от 10 июня 1831 г. он посмеивается и над пародийным сообщением в «Молве» о якобы предстоящей

подписке на трехтомные «записки Выжимкиной», и над жалобами книгопродавца: «У меня собрано в моем кабинете все семейство Выжигиных: старик Иван и дети его Петр, Игнаша и Степан; хотелось бы и родственницу их иметь, так вот и нет!»[150]

А десять дней спустя он в письме к С. Т. Аксакову недвусмысленно высказал собственное отношение к булгаринскому роману: «Не надо никому „Петра Выжигина“! Я от книгопродавца взял 5 экземпляров в деньгах и теперь ни за половину не могу сбыть. Так преходит слава мира сего! Или правильнее сказать: встретили („Ивана Выжигина“) по платью или по имени сочинителя, а провожают по уму. Не раз уже дети страдают за глупость отцов, а еще более, когда и сын весь в отца»[151]. По справедливому заключению С. Д. Зубкова, «неудовлетворенность первой попыткой романтизированного изложения, успешный опыт продолжения в новых условиях сатирических традиций прошлого века, пример Нарежного, намерение „возопить пред правительством“ о господствующем „зле“, стремление противодействовать булгаринской попытке преуменьшить это „зло“, полностью отнести его на счет отдельных людей, превратить сатиру в „благонамеренную“, и посвятить ее „усовершенствованию нравственности“, ибо „все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания“, а „всем хорошим люди обязаны вере и просвещению“, – все это вместе взятое и подвигнуло, видимо, Квитку „обивать целое книжище“ о Пустолобове»[152].

К концу 1833 г. были готовы уже две первые книги романа, но 2 июня 1834 г. его автор сообщил Погодину: «Опечалил меня очень г. Глазунов: известил меня, что „рукопись под заглавием *Жизнь Пустолобова* запрещена до того, что и не возвратят ее из комитета, а только выдадут свидетельство. <…> Согласен, что некоторые выражения и намеки на класс людей – впрочем, везде дозволяемые – требуют смягчения, не более, но за что же такие гонения?“[153]

Квитка явно недооценивал серьезность сложившейся ситуации. Он просил Погодина самому „пробежать“ рукопись и сказать что-то в наставление ее автору. Он рассказывал, какой обширный у него план, что он располагал „вместить все, что по провинциях ведется“, повторял, что не знает, что найдено вредного, рассчитывал, что Погодин „осветит его понятие“ и тем поможет спасти книгу. Но это было уже невозможно.

В донесении, которое цензор А. Болдырев направил Московскому цензурному комитету, говорилось: „По препоручению оного комитета рассматривал я рукопись: Жизнь и похождения Петра Пустолобова, помещика в разных

наместничествах; и хотя § 14-м Цензурного Устава дозволяется пропускать сочинения, в коих под общими чертами осмеиваются пороки и слабости, свойственные людям в различных возрастах, званиях и обстоятельствах жизни; но как в сем сочинении изображаются предосудительные и противозаконные действия предводителей, опекунов, исправника, земских и других чиновников, Правительством определяемых, то я не решаюсь одобрить оную рукопись к напечатанию, а представляю на суждение и решение Комитета“[154].

Но и Комитет не стал брать решение на себя, а передал дело на усмотрение Главного цензурного управления, член которого, действительный статский советник О. Мордвинов, которому было поручено ознакомиться с романом, нашел, что „сие сочинение“ „наполнено изображениями злоупотреблений властей разными чиновниками и может производить на читателей неблагоприятное для правительства впечатление“[155]. В результате было решено „не дозволять вышеозначенной рукописи к напечатанию“.

Возмущаясь наложенным запретом, Квитка, однако, в том же письме признает, что описываемые в нем события „обнаруживают злоухищрения корыстолюбивых людей, прикрывающихся законом, от давности времени и изменившихся обстоятельств оказывающимся в теперешнее время слабым и недостаточным, и к поправлению или к изменению которого был и мой *глас* взят в рассуждение, а тут выставлено все в примерах, и старые ежедневно мы видим, от них терпим – и потому не должны бы молчать“[156].

Этот запрет вынудил Квитку надолго прервать работу над романом, к которой он вернулся лишь в конце 1837 – начале 1838 г. под влиянием общения с Жуковским, побывавшим в Харькове 11–12 октября 1837 г. По сообщению биографа Квитки, „Жуковский в проезд свой через Харьков заметил Основьяненко, ободрил его советом – писать и писать более, выбирая сюжеты из окружающей его жизни“[157].

Возвращаясь в письме к Плетневу от 26 апреля 1839 г. к пережитым событиям, Квитка вспоминает, как „приступил к описанию жизни Пустолобова“, как написал „сей сказки“ „первую часть и послал в Москву. Там на меня сильно напали, но когда Василий Андреевич обнадежил меня, что они говорят пустяки, то я и принялся писать и нагородил (при всем желании ускромить себя) шесть частей“[158].

Но полученный опыт его многому научил. Если в письме Погодину он не уставал повторять: „Не знаю, что там найдено такое страшное!“, „Не знаю, что найдено вредного“, то теперь

нападки на его роман для него не только предсказуемы, но и неизбежны: „…Я тотчас сообразил, что по выходе этой книги все опекуны, судьи, содержатели пансионов, предводители и все описанные мною по именованиям лица, все восстанут на меня. <…> Вы видите и знаете: как я изъясняюсь и пишу, так изложена без дальнейшего старания вся повесть. Какое богатое поле ругателям-журналистам!“[159] Как мы увидим, жизнь в полной мере подтвердила эти опасения.

Не был Квитка уверен и в том, удастся ли второй редакции „Пустолобова“ благополучно миновать цензуру. 19 апреля 1838 г. он сообщал И. Т. Лысенкову, что ждет извещения от цензора П. Корсакова о судьбе первой части романа. „…Если она не подвергнется запрещению, тогда приступлю к печати. Я написал между тем и вторую часть. Две эти части могут пока выйти, а затем поспеют и другие. Но об этом после“[160].

В конце концов первая часть романа была „одобрена“, но что-то крамольное Комитет в ней все-таки усмотрел, поэтому автору было предложено впредь остерегаться „представлять на посмешище читателю губернаторов, генерал-губернаторов и сенаторов“, а также „оскорблять шутливыми эпиграммами бородатый люд, самый раздражительный в раздражительном нашем мире“[161].

Предвидение Квитки, что его роман встретит враждебный прием полностью оправдалось: письма, которые он писал Плетневу в апреле 1839 г., переполнены жалобами по этому поводу. „Насмешки во всеуслышание, домашние упреки (если не более) – это будет моею наградою! – иронически восклицал он. – А мне бы хотелось умереть покойно, чего лишусь, если самое прямое, благородное мое стремление показать, отчего у нас зло, будет осмеяно и преследуемо. Самоуверенность не в состоянии разогнать всех мрачных мыслей“[162]. Он предвидел, что „здешние домашние, ежечасно встречающиеся опекуны, дворяне, судьи, предводители, полицейские, советники, казначеи, содержатели пансионов и все поименованные характеры, коих лица, носящие звания сии, примут на себя, и я от них нигде покоя не найду“[163].

Едва выпуск альманаха „Новогодник“, напечатавшего крошечный отрывок из еще незаконченного произведения, дошел до Харькова, как эти предчувствия оправдались: „Все спрашивают меня: на кого я метил? Не на того ли, не на другого ли? <…> А полиция что скажет? А мелкое дворянство? Ужас, ужас и ужас!“[164] К подобным опасениям он возвращается вновь и вновь: „…Выйдет „Столбиков“ – и вся ученая, губернская, чиновная, дворянская братия, *здраво* мыслящая, восстанет на меня и восстанет ужасно. Каждый из всех сих сословий, не входя ни в

какие рассуждения, а о цели сочинения они и понять не могут, все восстанут против меня, начнут догадываться, на кого я метил, не похоже – они станут натягивать“[165].

Уже не стремление сделать роман приемлемым для цензуры, а страх перед „общественным“ неприятием произведения и, по-видимому, „дружеские“ советы осторожного Плетнева побуждали Квитку к переделкам его детища. Они вылились в значительные сокращения его текста: первая редакция задумывалась в восьми книгах, вторая состояла уже из шести, а последняя, которая и вышла в свет, – только из трех. При этом, несомненно, притуплялась сатирическая направленность романа, но дошедший до нас материал не позволяет установить подлинную меру этого процесса. Конечно, очень значим сам факт, что выразительный, обращающий на себя внимание самой фамилией „Пустолобов“ был переименован в ординарного „Столбикова“, чем автор снижал типичность, универсальность, распространенность „пустолобовщины“ как социального явления.

Квитка словно приглушал язвительность своей иронии. Первая глава, которая раньше называлась „Глава первая, в которой со всей достоверностию описывается о знаменитом происхождении древнего, благородного рода Пустолобовых и как я остался сиротою“, была озаглавлена: „Глава первая о том, как я родился и как остался сиротою“. Отброшено было и „Предуведомление“, открывавшее вторую редакцию и акцентировавшее два момента: достоверность изображения: „Уверяю Вас, что я ничего не прибавил и не преувеличил; все было так, как я рассказываю, – и дело с концом“ – и цель, к которой стремился автор: „Не полезнее ли рассмотреть прежде всего, „для чего написано“, а ка5к написано – об этом всякий из Пустолобовых скажет свое мнение; итак, если написано для пользы, то… и довольно“[166].

Был момент – переживаемое им состояние Квитка подробно объяснял Плетневу в письме от 1 февраля 1841 г., – когда он было решил „„Столбикова“ вовсе не выпускать и скрыть его от света“. Плетневу, однако, удалось его переубедить. Первый номер „Современника“ за 1841 г. был почти полностью посвящен Квитке, в числе прочих произведений которого были напечатаны пять глав „Столбикова“ с редакционным предисловием, в котором, в частности, говорилось:

„До сих пор читатели „Современника“ в каждом № находили Повести г. Основьяненка. Их красоты неподдельные – истина жизни, разнообразие и верность в характерах действующих лиц, изумительная точность в очерках нравов, неистощимый запас благодарной и остроумной веселости, неподражаемый юмор,

глубокие черты трогательной чувствительности, дух и направление чистой, возвышенной нравственности, оригинальный, самым положением и природою лиц определяемый слог – все постепенно содействовало, что автор возбудил всеобщий энтузиазм к своим произведениям. Справедливость требует сказать, что он в своем роде лучший писатель нашего времени. В новом своем романе „Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова“ (из которого получили мы для напечатания в „Современнике“ несколько глав, является он с новыми совершенствами. Роман – обширное поле для великого таланта. Это полная жизнь в ее поэтическом шествии, с бесчисленными отношениями, переворотами, эпизодами, это взгляд на горизонт обширный, где нация в определенную эпоху возникает в ярком свете с своими особенностями нравов, ума и невежества, пороков и доблестей, предрассудков и знаний“[167].

Это ли повлияло на Квитку или что-то другое, но решение свое он изменил между 5 и 8 февраля. Если 5-го, перечитав статью Сенковского и видя „его злость и готовность язвить меня на каждом шагу, при всяком удобном случае“, он повторяет просьбу „о прекращении печатания не только „Столбикова“, но и всего вообще“, то 8-го не только делится размышлениями о том, как может быть принят его роман, но и обсуждает поправки, вносимые в текст.

Еще более твердо и решительно, в деловой тональности звучит его голос в письме от 1 марта: „Итак, отвергнув все мучащие меня грезы и беспокойства, становлюсь на прежнюю точку. В „Столбикове“ главу, которая и в теперешнем спокойном духе кажется мне неприличною, переделаю и с следующею почтою вышлю к вам для продолжения печатания. Поручите г. Фишеру выслать мне скорее третью часть – хочется пересмотреть ее по предмету выборов и, кажется, нужно будет новое что включить. Необходимо также и 1-ю просмотреть, не вкралось ли что, могущее беспокоить меня при выходе в свет, пусть все это поспешит прислать, я не задержу и вышлю обратно“[168]. А в письме от 15 марта воинственно восклицает: „Не боюсь Сенковского!“[169] и делится намерением высмеять своего недоброжелателя в одной из готовящихся публикаций.

Многострадальная история романа завершилась в 1841 г. Он вышел в свет тремя отдельными частями с посвящением: „Его превосходительству Василию Андреевичу Жуковскому“. Интересно отметить, что Квитка и сейчас дорожил тем, что он собирался сказать в неосуществленном „Предуведомлении“. 15 марта 1841 г. он писал Плетневу: „Располагал было в примечании

сказать, что это не выдумка, но полагаю, что не следует этого тут же в книге объяснять. Не найдете ли приличным объяснить в Вашем „Современнике“ при выходе „Столбикова“, что это истинное происшествие, без всяких украшений и преувеличений“[170].

В первой части романа автор описывает детство и отрочество своего героя, проводит его через годы опекунства, период пребывания в пансионе проходимца Шевалье де Филу, службу в мушкетерском полку. Уже здесь определяется своеобразное соотношение писателя с повествователем. Если излияния Фалалея Повинухина, а в большинстве случаев и Трушка Халявского служили саморазоблачению и дискредитации этих персонажей, то с Петрушей Столбиковым дело обстоит иначе и сложнее. Он, конечно, не alter ego автора, но он, несомненно, одарен известной мерой авторской симпатии, и его оценки и суждения в значительно большей степени отражают позицию самого Квитки. Обличительный пафос романа сосредоточен на обстоятельствах, условиях, в которых формируется и действует герой, и в определенной степени он сам выступает как жертва окружающей его среды.

Он трогателен, когда предается воспоминаниям о рано умершей матери, о том, как она приучала его к чтению и кормила сладостями, когда „хорошо проговаривал“ выученные стихи; „после каждого учения она ласкала меня, называла „умницею“ (подобного названия я уже во всю жизнь свою, даже от жены моей, не слыхивал), и когда приходил к ним священник наш, матушка всегда хвалилась ему, что я учусь хорошо“. И скончалась она, прижав его к себе.

„Вот тут-то пошла суматоха!.. Вскоре прискакал к нам в дом какой-то господин в красном мундире, и, несмотря на то, что тело матушки лежало в зале на столе и при нем читали молитвы, он тут же кричал на матушкиных людей, как на собственных, рассылал их по разным местам; ходя по дому, курил трубку, как будто у себя; отпирал комоды, шкафы, ящики и, из них выбирая кое-что, клал в карманы и прятал в свою шкатулку, а потом принялся все без разбору печатать, крича: „Что еще печатать? Говорите“. Испугавшись, чтобы он и меня не запечатал, я уходил и прятался от него; но – спасибо ему! – он хотя и видел меня, но не спрашивал обо мне и не обращал ни малейшего на меня внимания. Сам же он много занимал меня как суетою при распоряжениях, так и потом, когда спросил бутылку рому, выкушал его с чаем и тут же в зале, при теле матушкином, свалившись, уснул и так храпел, что я, несмотря на увещевания дядьки моего, хохотал от всего сердца“.

Так (на второй странице романа!) описано первое в жизни соприкосновение Петруши с представителем власти, и оно буквально насыщено значимыми и выразительными деталями. Прежде всего „красный мундир“, который будет в дальнейшем поминаться неоднократно. „Какой-то господин“ – мы имени его не узнаем, но красный мундир означает его принадлежность к власти. И благодаря многократному акцентированию внимания на этом признаке внешнего облика, носители красных мундиров воспринимаются не как конкретные злодеи, а как массовое явление, характерное для общества и освященное его устоями. И в пансионе мусье Филу верховное наблюдение осуществляется чиновником „в красном наместническом мундире“. Писатель сознательно стремится представить „все, что по провинциям ведется, все, что прикрыто красным, наместническим еще, мундиром“.

А бессердечие носителя этого мундира, проявляемое, когда тело матушки еще лежало на столе, и откровенное воровство, когда он отпирал комоды и шкафы и, „выбирая кое-что“, присваивал это, а потом „выкушал“ с чаем бутылку рома и все это, вновь подчеркивает Квитка, „при теле матушкином“. А проснувшись, „принимается за распоряжения“, сменив при этом ром на водку.

Затем собираются „почтеннейшие гости“ (эти слова Квитка выделяет ироническим курсивом). Знакомые матушкины вели себя как нормальные люди: приезжали к церкви, прощались с покойницей и уходили, не забыв при этом приласкать осиротевшего „бедного Петю“. Что же касается гостей „почтеннейших“, то они демонстрируют свой лицемерный животный облик. „Равнодушные при погребении, *гости* наши (курсив Квитки! – *Л. Ф.*), возвратясь домой, оказались совсем другие. Тут ожидал их огромный завтрак, на который все бросились с жадностью. Загремели тарелки, зазвенели рюмки, стаканы, ложки, ножи, зашевелились рты, зачавкали челюсти… ужас! Три раза снова подавали такой же завтрак, и опоражниваемые штофы с водкою и бутылки с наливками заменяемы были полными“.

Никто и не вспомнил об осиротевшем ребенке, а когда он вышел к обеду, то уже все места были заняты гостями, которые вскоре захрапели на стульях, а то и падали со стульев и спали под столом, повторяя при этом, как они „славно помянули“ усопшую, даже имя которой толком не могли вспомнить. А „красный господин“ тут как тут: „хотя сам крепко шатался и с трудом говорил“, но продолжал таскать чужое добро: весело смотрел „на своего человека, укладывающего наши ложки и ножи

в свой ящик“.

Мы пересказали неполно и отрывочно лишь содержание первой пятистраничной главы, но и она дает некоторое начальное представление о манере авторского повествования, о зоркости, с которой изображаются в романе характеры, детали быта, самоуправство „сильных мира сего“, и мы уже способны оценить пророчество, которое в конце этой главы Квитка вкладывает в уста представительницы народных низов – няни героя произведения: „Управился исправник! <…> Да это тебе, батюшка, Петр Степанович, еще цветочки: после будут и ягодки!“

Вообще с самого начала обращает на себя внимание, что дворовая челядь описана с симпатией, и в ее обращениях к сироте постоянно присутствуют ласкательные наименования: „голубчик“, „сынок“, „батюшка“, но совсем иначе изображены представители власти. Исправник называет Петрушу не иначе, как „мальчишка“ и „щенок“, а сброд, собравшийся, чтобы повеселиться на поминках, – „почтеннейшими“, „дядюшками“, „кумушками“.

Не лучше выглядят и представители высшей власти. Приезжает чиновник проверить деятельность опекуна, в ведении которого находится Петруша. Как мы знаем из письма Квитки к Плетневу от 8 февраля 1841 г., первоначально это должен был быть сам предводитель. Но позднее он не решился „так сильно укорять человека в почетном звании предводителя“, решил понизить его ранг и этим „облегчить“ соответствующую сцену.

Разжалованный предводитель обрисован резко сатирически: он не заговорил, а „запищал тоненьким голоском“ и, „сняв колпак, явил нам свою голову, совсем плешивую“. Квитка и в дальнейшем передает тембр голоса приехавшего начальника исключительно глаголом „пищать“. С первого знакомства с ним мы видим многочисленные проявления его лицемерия и ханжества.

Когда его приглашают „пожаловать в комнаты“ с очевидным намерением задобрить, он гордо отвечает: „…Я с вами хлебосольства не намерен вести. Прошу назначить мне квартиру в деревне; со мною все есть: мне вашего, то есть сиротского, не надо. Я знаю закон, имею совесть, боюсь Бога, дорожу мнением моих собратий и не допущу на себя ни малейшего нарекания. <…> Я помню свою обязанность быть защитником угнетенных сирот и оберегать их имущество от разорения. Надо помнить совесть…“ И под аккомпанемент этих разговоров „наливает густые сливки из большого серебряного молочника в поднесенную ему матушкину дорогую фарфоровую чашку с чаем“, требует „еще чашку, да с ромом…“

Но надежды Петруши, что после таких „прекрасных

наставлений“ он ощутит хоть какую-то заботу о себе, не оправдываются: „Чиновник откушал все свои чашки, но на меня не обратил никакого внимания, хотя я перед ним все болтался. Обо мне никто не подумал и в то время, когда подали десерт, все-таки на матушкином богатом сервизе. Наш гость насыщался, а я смотрел ему в глаза“.

Далее продолжается та же игра: чиновник стращает Петрушиного опекуна, что сам проверит все отчеты, пересмотрит все книги, „отчеты ваши по листочку переберу и что в них найду, так и дело поведу. Я на правду черт. Задабривать меня не думайте и не смейте“. Но после этих благонравных слов „принялся он за книги… пересматривал по листочку, вытряхивал из них очень прилежно, но как ничто не выпадало, так он с явною досадою швырял каждую с сердцем в угол, ворча: „Кой черт, нет ничего“. Чем меньше оставалось книг ему рассматривать, тем он в большую приходил досаду и наконец, не найдя и в последней ничего, швырнул ее очень далеко, вскочил вне себя и довольно громко сказал: „Хорошо же; будешь помнить меня! Не я буду, чтобы я тебя не доехал“. С сими словами бросился он в постель, все ворча и проклиная кого-то“.

„Ничто не выпадало…“! Ясно, что наш неподкупный правдолюбец рассчитывал, что из книг будут выпадать ассигнации, отсюда его досада и угрозы в адрес тех, кто обманул его ожидания. Но напрасно он огорчался. Ощупывая свою постель и подняв простыню, он „увидел в руках у него в бумагу завернутое, точно как бы колбаса… Незнакомец развернул бумагу… там были все деньги серебряные“. Пересчитав серебряные колбасы, он спрятал их в свою шкатулку, после чего собрал разбросанные им книги и, не читая, каждую подписал, лег в постель и сладко уснул.

В названии каждой из глав романа Квитки коротко излагается ее содержание. Глава, следующая за той, в которой была описана технология получения взятки, озаглавлена с заметной долей иронии: „…о том, каков был чиновник после угощения его колбасами“. И действительно, „угощение“ подействовало как нельзя лучше. Чиновник нашел, что в книгах и отчетах „все верно и исправно“, „точность во всем большая и примерная“, а опекун получит благодарность за похвальное управление имением. Малолетнего наследника он укоряет за то, что он недостаточно благодарен своему благодетелю за его заботы и попечение, а крестьян, которые намеревались жаловаться, обзывает „бунтовщиками“, которых „должно кнутом, в солдаты, на каторгу“.

Писатель проводит своего героя через пребывание в пансионе

мусье Филу, выглядящем пародией на нормальное учебное заведение, через службу в мушкетерском полку, оставляющую, мягко говоря, невыгодное впечатление об армейских порядках. Бригадирское звание присвоено полковнику генерал-аншефом в благодарность за благосклонное отношение красивой полковницы. Офицеры пьянствуют и проводят время с девицами сомнительного поведения. Когда же запахло возможностью войны, они струсили настолько, что вызывают пренебрежительный отзыв даже у Столбикова: „Известны эти бойкие офицеры своею храбростью на месте – нам против них и слова сказать нельзя; введи же их в дело, так еще и за нас прятаться станут“.

А как сам наш герой поведет себя в случае войны? Он откровенно излагает свои планы: „А если проклятые татары не уймутся и начнут войну?.. О! Тогда в сторону честолюбие! Тогда, дав волю сильнейшей страсти – жизнелюбию, поднести полковому лекарю *что следует*, и он, по мере того, столько и болезней неизлечимых мне припишет (я знал, как это делается), тогда вчистую, жив, цел, невредим, да еще с повышением чина… Славно обдумано и прекрасно распоряжено; надобно ожидать случая проситься в отпуск… И случай скоро открылся“.

Показателен для характеристики армейских нравов и такой эпизод. Когда Столбиков обратился к начальнику с просьбой „выпустить“ его из службы, он услышал в ответ, что русский дворянин должен служить, пока в нем есть силы, и что это, дескать, ему должны были объяснить в пансионе.

„– В пансионе мне объяснили, – отвечал я твердо и решительно, – что я, как человек, рожден свободным, должен избрать занятие по воле своей, а не по прихотям…

– Молчать! – заревел полковник ужасным голосом, как будто в услышание всего полка, и глаза его сверкали от гнева. – Если ты еще занесешь эту чепуху и мне донесут о том, то я тебя своими руками удушу… Даю тебе в том честное слово. Г. капитан! Возьмите его на свои руки и имейте особенное наблюдение за его поведением и образом мыслей: он человек опасный“.

Во второй части романа характер повествования существенно меняется. Его герой уже не несведущий несмышленыш, это человек с установившимися взглядами, способный на соответствующие им решительные действия. В этой связи стоит иметь в виду и даже положить в основу нашего понимания Столбикова ту характеристику, которую дает ему Квитка в письме к Жуковскому от 3 декабря 1841 г. Для автора письма главное в нем было то, чем оно завершается: просьба о разрешении публиковать роман с посвящением Жуковскому. Известно, что это

было давнее желание Квитки, о чем он не раз писал Плетневу. Естественно предположить, что Плетнев сыграл в этом посредническую роль и к моменту, когда письмо писалось, он уже был осведомлен о „снисходительном принятии его (т. е. уже готового романа. – *Л. Ф.*) в милостивое ваше внимание“.

Но для нас важнее другое – отразившееся в этом письме авторское представление о Столбикове. „…Приняв совет Ваш писать сцены из губернского быта и дворянских выборов, – писал Квитка, – я свел все в одной повести и поставил лицо, страдающее от различных угнетений, не без рассудка вовсе, но как по корыстолюбивым видам гонимого до того, что его лишили даже воспитания, на которое он, по роду и состоянию своему, имел полное право. За отнятием сего блага, он страдал от того везде и от всех целую жизнь свою. Притом же я полагал, что если он будет умнее, то он не с той уже точки будет смотреть на вещи и на все, встречающееся ему, и перескажет уже не так, как прилично с понятиями, одному ему свойственными“[171]. Понятно, что это характеристика не подростка из пансиона мусье Филу и не солдата, постигающего азы воинской службы, а сформировавшейся личности.

И действительно, с первых глав второй части нам предстает иной Столбиков. Если прежде ему всего милее на свете были деньги и для приобретения их он готов был „презреть покой, недуг, семейные обязанности, общее спокойствие, собственную честь и т. п. пустяки“, то теперь в нем пробуждается стремление к справедливости и готовность ее отстаивать.

Вернувшись в свое имение, он не застает там своего опекуна, а оставленный им управляющий, по словам посланных к нему людей, „навряд ли сойдет к твоей милости. Ведь он благородный да еще и зять Макара Тимофеевича.

– Какая мне нужда, что он благородный, – прикрикнул я, не расслышавши последних слов, – я сам благородный, я офицер, я хозяин; ко мне его!“

Выход находится благодаря тому, что Столбиков решился и сумел опереться в своих действиях на советы простых людей, выходцев из низов. Сначала извозчик ему говорит: „…Собери-ка своих крестьян да с ними и войди прямо в дом; коли люб тебе управляющий, оставь при себе, а нет – так по шеям, и прикажи себя одного слушать“.

Признали его и крестьяне, которые сами просят избавить их от мучителя-опекуна и взять отчину в свои руки:

„– По шеям его, кормилец ты наш! Возьми, ваше благородие, али ружье, али шпагу свою и веди нас… мы его… мы ему… в бараний рог согнем его и с хозяйкою его… <…> Взашей его из

господских хором!..“ Действительно, управляющий не решился оказывать сопротивление, и вскоре все увидели, как он „улепетывает“.

В дальнейшем на помощь нашему герою приходит неожиданное обстоятельство. В город прибывает влиятельное лицо – „присланный от наместника для открытия разных злоупотреблений ревизор Пахом Иваныч Столбиков“. Петруша решает попытаться выдать себя за его родственника и искать у него покровительства. Не тут-то было. Пахом Иваныч велит ему передать, что у него „родных бедных и мизерных много и ему невозможно всех награждать, так шел бы я, откуда пришел, и не смел бы – к стыду его – называться родственником…“

Петруша был готов к такому повороту событий, но случайно он стал свидетелем того, как всемогущий Пахом Иванович танцует и при этом допускает ошибки, которые он мог бы исправить. Обращение с ним Пахома Ивановича мгновенно меняется, и между ними происходит такой разговор:

„– Да кто ты, мой милый? Не тот ли мой любезнейший родственник, о котором мне докладывали?.. <…> Обними же меня, друг мой! Ты мой близкий, самый ближайший родственник. <…> Сделай дружбу, обяжи по-родственному, танцуй с нами…

– Охотно. Я буду приходить к вам в свободное от моего дела время.

– Нет, лучше всего переселись ко мне. Для танцев у меня все время, а делами пусть занимается письмоводитель. Мое содержание…

– Мне и содержание не так нужно, – осмелился я сказать, – как нужна защита по делам моим…

– Я, я твой защитник! – вскричал Пахом Иваныч, не дав мне объяснить ничего. – Ты только танцуй со мною, а я за тебя везде буду действовать“.

Столбиков делает из произошедшего вполне логичный вывод: „Как я мысленно благодарил мусье Филу, что он хотя чему-нибудь научиться дал мне возможность. Кажется пустой предмет танцы, да как они мне пригодились! Не надобно ничем пренебрегать: не отгадаешь, что к чему пригодится“.

Желая отблагодарить Петрушу (как стал его „по родству и покровительству“ называть Пахом Иваныч), он говорит ему: „Я заметил в тебе большие способности к гражданской службе. Я хочу дать тебе место. <…> Вот тебе повеление к советнику о немедленном определении тебя к должности“. Явившись к советнику, Столбиков заявляет ему, что хотел бы стать председателем в палате. Тот удивленно спрашивает:

„– С чего тебе вздумалось лезть прямо в председатели?

Понимаешь ли ты эту важную должность?

– Должности не понимаю, – отвечал я свободно, – но постарался бы со временем попривыкнуть к ней. А желаю занять ее потому, что жалованье отличное“. Эти притязания оказываются чрезмерными, и Столбикову приходится ограничиться намного более скромной должностью квартального.

„Я вышел от советника совсем в отличном расположении духа, нежели входил к нему. Ослепление меня оставило. Я увидел ясно, что место председателя навсегда ускользнуло от меня и вместо этой видной должности дают мне место какого-то *квартального*. И кто знает, что это за должность? Не она ли это, что мы, военные, называем *хватайный*?“ Очевидно, полученный опыт не прошел для него бесследно, и он готов повторить недавно сделанный вывод: не надо ничем пренебрегать: „не отгадаешь, что к чему пригодится“.

Городничий, ставший его новым начальником, решает „отрядить“ его к губернатору, пояснив это намерение так: „нам без тебя просторнее будет… хе-хе-хе-хе“. Итак, „ясно было, что меня оттерли от полиции из подозрения, что я подослан советником быть со стороны его шпионом и доносить ему, что будет замечательного. Сначала новое назначение мне не нравилось: послужив при полиции несколько лет и *набив руку*, я скоро бы приобрел столько, что мог жить счастливо; но, рассудив, что, сделавшись известным губернатору, я найду в нем защитника и покровителя против утеснений опекуна моего, был спокоен и нетерпеливо ожидал следующего дня“.

Образ губернатора, с которым мы знакомимся в седьмой главе второй части романа, очень важен для правильного понимания позиций Квитки. Многочисленные воры и жулики, невежды и взяточники, изображенные в романе, предстают такими, какими видел и знал их писатель на протяжении многих лет своей службы. И всем им противопоставлен единственный положительный персонаж, не взятый из действительности, а искусственно в нее привнесенный. Как верно отмечал С. Д. Зубков, „противоречивость и искусственность образа положительного правителя была определена противоречивостью мировоззрения автора: как художник, он видел недостатки общества, но не знал настоящих путей их устранения, а поэтому исходил из ложного убеждения о возможности усовершенствования того, что требовало разрушения и устранения, ибо именно оно и порождает все зло“[172].

Отступление от жизненной правды неизбежно влекло за собой ущерб художественной убедительности. Писатель не мог изобразить того, чего не было в жизни. Он конструировал этот

образ, привнося в него то, что ему хотелось бы видеть. Но мало говоря о реальной действительности, этот образ много говорит об общественных позициях и идеалах Квитки. Писатель вложил в него выношенные представления о том, как, по его мнению, должен рассуждать и поступать государственный чиновник высокого ранга. Потому пространные речи губернатора заслуживают того, чтобы к ним присмотреться.

Объясняя жене, зачем он приглашает своих подчиненных к обеду, он говорит: „Я, как начальник губернии, должен всех и каждого из моих сослуживцев и подчиненных знать не только по имени, наружному виду, но и судить о понятиях и способностях каждого из них! Чтобы вывести безошибочное заключение о способностях их, я должен вникать в образ мыслей, род жизни, в нравственность их. А для того чтобы знать каждого в таком совершенстве, я приглашаю их к себе не по службе – тут я и он связываемся; но приглашаю как гостей, побеседовать со мною. <…> Чрез это я всех моих подчиненных знаю совершенно; и когда приходит время сказать пред высшим начальством мое мнение о каждом чиновнике и тем изречь приговор о нем на всю его жизнь, – о, какое это важное, великое, священное дело! – я с спокойным духом, с чистым сердцем, без всякого колебания кладу печать одобрения или отвержения – и не страшусь ни нарекания общества, ни упреков совести. <…> Достоин ли бы я был редкой доверенности управлять губерниею, в коей миллионы людей, если бы я, окружив себя только нравящимися мне людьми, отличал их и, советуясь только с ними, вел бы свои дела, выводил бы любимцев, а прочих важных по должностям чиновников оставлял бы без всякого внимания за то, что не в характере их кланяться моим льстецам, упитывать моих блюдолизов и что не нравятся своею физиономиею мне и наушникам моим. Нет! Губернатор должен знать своих чиновников непременно в той степени, как я сказал. Притом сколько выгоды общей и для службы. В числе чиновников легко можно предполагать несколько с слабыми характерами, ну с слабостями… допустим, и порочного. Неужели какой-нибудь намек губернатора, знающего их в совершенстве, намек в обществе или увещание в кабинете не понудит слабого исправиться, других остерегаться от подобного заключения о нем начальника? Если же над кем-то такое средство не подействует, тогда гони его без жалости и выгони его из службы и из круга честных людей. Благодарность от всех честных и утешение за такой подвиг в сердце“.

Чтобы показать на конкретном примере способы воздействия губернатора на проступки чиновников, приводится такой эпизод. В числе приглашенных на обед к губернатору был председатель

магистрата уголовного департамента, который перед тем взял с одного купца „сколько-то дюжин бутылок портеру и дело решил неправильно. За обедом губернатор, когда начали хвалить подносимый портер, обратясь к председателю, сказал: „У вас надобно спросить, хорош ли портер. Вы его любите“. Слова пустые, но заставили председателя до того смешаться, что он с трудом усидел на стуле, тем более, что он и все присутствующие знали, что губернатор спроста слова не скажет и что это слово разнесется по всей губернии“.

Казалось бы, создан иконописный облик и сказаны все самые что ни есть благочестивые слова, но последним абзацем соответствующей главы хитрый Квитка добавляет в бочку меда небольшую, но несомненную ложку дегтя, прозрачно давая понять, что не так однозначно его отношение к действиям губернатора, как может показаться: „Вот как ценятся слова губернаторские и какой они имеют вес и влияние на судьбу человека! Зная же, что каждому губернатору должно взвешивать и пересуживать всякое слово, которое хочет сказать в обществе, я неохотно пошел бы в губернаторы“.

Заметное место во второй и особенно в третьей частях романа занимают образы помещиков. Эта порода людей была также хорошо знакома писателю, и, описывая их, он меньше должен был считаться с возможными придирками цензуры, следствием чего явилось правдивое воспроизведение многих персонажей. Глава двадцать третья второй части повествует „о том, как я был управляющим у богатого помещика и отличного хозяина“. Только прочитав ее до конца, можно оценить всю меру язвительности этой иронической характеристики. Впрочем, в самом начале, лишь знакомясь с характером „отличного хозяина“, имя которого Богатон, мы узнаем, что тот, „подобно многим людям, имеет слабость: не зная вовсе дела и не разумея его, почитает себя великим хозяином оттого, что завел на все формы, как ведомостям, отчетам, книгам, так и докладам к нему“.

Собственным людям Богатон не доверяет, каждой „хозяйственной частью“ у него заведуют наемные лица, преимущественно иностранцы: англичанин, голландец, немец, француз и другие. „Экономическою конторою управляет малороссиянин; но это лицо есть главнейшее во всем управлении. Этот ужасный плут, будто слепо исполняя приказания помещика, управляет и им, и всеми частными смотрителями. С ним Богатон никогда не расстанется: он получает ничтожное жалованье, наблюдает формы и из учрежденного Богатоном порядка не выступит ни для кого на свете“.

Новый знакомый, по имени Пантелей, сначала производит на

Столбикова хорошее впечатление: „на лице выражалась какая-то простота, добродушие, но глаза были необыкновенные. Лишь только взглянул он на меня, то, казалось, одним мигом прозрел всего, понял меня и зачем я здесь и, кажется, расположил, как поступить со мною“. К тому же он предлагал необыкновенно выгодные условия: „к господскому жалованью осмеливаюсь присоединить вам еще столько же единственно за то, чтоб оное дело было между нами секретное“. Столбиков проникся уверенностью, что Пантелей его „полюбил“ и его будущность обеспечена.

В дальнейшем, однако, выясняется, что Пантелей обманывает Богатона: „они по хозяйству ничего не изволят разуметь, а любят заниматься и потщеславиться, что все у них и от них идет превосходно. Одно их попечение – ведомости рассматривать и поверять. Если показано будет доходу вполовину, вчетверть менее полученного, то их высокоблагородие не имеют столько рассудку, чтоб дойти до истины, и довольны вступившею к ним суммою“. Столбикова поначалу смущает, что это „нечестно. Не лучше ли бы нам получать больше жалованья, а все доходы отдавать, по принадлежности, помещику? Они не наши, а его“.

Пантелей ему терпеливо объясняет, что он рассуждает „чудно́“. „„Их высокоблагородие в таких летах, а еще без подружия; могут и скончаться без наследия. Тогда выйдет, что мы трудились для иных, кои нам ничего не заплатят, и мы, сироты, как я и ваше благородие, окажемся прослужившими втуне. Притом же я так мизерным своим умом рассуждаю: воля их высокоблагородия с нами на всякий час; вдруг отрешат и отпустят безо всего. Не будем же, ваше благородие, дурни, будем готовы на всяк час“. Доказательства Пантелеевы мне показались сильными, и я согласился во всем следовать его советам“.

Некоторое время все шло хорошо, но завершилось неожиданной катастрофой. Сначала Богатон обнаружил в поступавших к нему ежедневных донесениях пропуски некоторых известных ему сумм, а потом „запечатано было все мое имущество и сам я арестован в своей квартире. Скоро после того открылось следствие надо мною, Пантелеем и всеми смотрителями. Сам Богатон, в сильном на нас гневе, начал разыскивать о всех наших злоупотреблениях, изложенных ему в доносе, поданном ему от неподписавшегося лица. Первый я повинился во всем, что получал от смотрителей и Пантелея, равно и об утайке господских доходов. <…> Этого мало. Пантелей представил черновые ведомости за все время моего управления, подписанные мной с отметками, сколько утаить из доходов в пользу мою…

Хоть сейчас убейте меня, а я именно не помню, когда я этакую кабалу подписал на себя. Конечно, Пантелей принесет, бывало, кипу бумаг к подписи – куда мне их прочесть, и что бы я из них вычитал? Ровно ничего; то я подмахивал их, не знавши, что подписываю на свою беду.

Кончилось это следствие на том, что меня и всех смотрителей отрешили от мест; все заведения, по проекту Пантелея, найдено выгоднейшим поручить одному управляющему имением, которым назначен за отличное усердие сам Пантелей“. Более того, Пантелею было поручено отыскать доносчика, и „открылось после, что доносчиком-то был сам же Пантелей. Каков же малороссиянин? А притворялся добродушным, усердным“.

И здесь следует вывод, принадлежащий, конечно, не несмышленышу, а наблюдательному, опытному и мудрому Квитке: „Конечно, пантелеи – зло, но от них избавиться нельзя. Многие, не имея при себе Пантелея, не могут занимать должностей“. Писать собственное имя с маленькой буквы и во множественном числе, превращая его, таким образом, в нарицательное, – прием широко распространенный, но совершенно не характерный для Квитки. И если он к нему прибег, значит, добивался, чтобы данное лицо, явление, ситуация воспринимались как типические.

Он стремился показать, что о многих, если не о любом, „занимающем должности“, можно сказать то, что Пантелей в первом разговоре говорит Столбикову: „У нас был судья, ничего не смыслящий, <…> а секретарь у него имел всю силу и законы подводил. Секретарь оный все обработает и напишет, а судья только подпишет; судье шла вся честь, а секретарю… Доставался доход“. О ком это сказано? О всех „пантелеях“. Квитке хватило двух строк, чтобы рассказанная им история приобрела обобщающий характер и вела читателя к широким и значимым выводам. Вспомним, что воспетый им умный и честный губернатор воспринимал как должное, что Столбикова считали „рукою наместника“, хотя он только и был способен хорошо чинить перья. Он и сам говорит: „…Я не был рукою наместника, а только карандашом в его руке“. А между тем, „с каким уважением меня принимали, с каким вниманием смотрели на мои отметки на подаваемых наместнику бумагах!“

К наиболее колоритным в галерее изображенных в романе помещиков принадлежит и скупец Жиломотов. Как известно, тема скупости многократно разрабатывалась как в русской, так и в западноевропейских литературах. Наиболее естественные аналогии возникают между персонажем Квитки и гоголевским Плюшкиным. Была даже попытка увидеть в сходстве этих двух

образов литературное заимствование и представить Квитку как „вдохновителя Гоголя“, но она давно и обоснованно опровергнута.

Еще до написания романа Квитка обратился к этой теме в комедии „Скупой“, где и появилась, а потом перекочевала в „Похождения Столбикова“ сама фамилия Жиломотов. Квитка, как известно, тяготел к значимым фамилиям, и его соблазнила возможность показать, как „мотают жилы“ из окружающих и тот, и другой. Двадцать пятая глава второй части, целиком посвященная Жиломотову, начинается с того, что наш герой завидел село довольно значительное и направил к нему путь свой, надеясь у жителей его, уже не за деньги, а за Христово имя, получить обед». Запомним эту деталь, она нам еще пригодится.

Само описание владельца «довольно значительного села» воскрешает в памяти соответствующую страницу «Мертвых душ»: «На развалившемся и без некоторых уже ступенек крыльце сидел старик лет за шестьдесят, в сертуке, на коем и заплаты были все истерты и изорваны, каков же самый сертук должен быть! Старик был босой и старый женский башмак чинил нитками, конечно, приготовляя себе обувь на мокрое время».

У Плюшкина тоже было «обширное село, со множеством изб и улиц» и «тысяча с лишком душ» и «замечательный» наряд: «никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага».

Но если скупость Плюшкина проявляется в одной ситуации – в разговоре о мертвых душах, то Жиломотов предстает в целом ряду разных ситуаций. Вот он пересчитывает яблоки, сверяя их с записями в тетрадке:

«– Снизано еще два яблока, то есть четыре половинки. Ну, теперь с 5-го № где три яблока?

– Вот, сударь, два упавшие.

– Два, а третье где?

– Виноват, сударь, не досмотрел. Али оно еще гнилее этих было, так, упавши, и рассыпалось?

Тут барин запылал гневом:

– Как? Пропало? Что, ты разорить меня хочешь?.. Для чего же ты не досмотрел?.. То было лучшее, так ты его продал? О разбойник, душегубец!» Девушку он ругает за то, что зажгли свечу, когда ей нужно было разгладить платье, вынашивает намерение унаследовать имение сестры, несмотря на то, что она имеет мужа и четверых детей. «Вдруг случится на детей корь,

оспа и тому подобное», – мечтательно размышляет он.

Особенно значим его разговор с сыном. Узнав, что его вызывают в роту, Жиломотов видит в этом возможность не накормить его обедом. «С змеиною ласкою в глазах» он говорит ему: «Поезжай, поспеши. Наш обед еще не скоро, а 15 верст нелегко переехать. Военная служба требует аккуратности и строго взыскивает за неисправность. Поспеши, дружочек!»

С ужасом Жиломотов узнает, что сын отпущен для обмундировки и без нее не может явиться. Происходит длинный спор, и каждый довод выжившего из ума скряги – новое свидетельство патологического распада его личности. То он предлагает «обделать» его мундир на офицерский, «выворотить его, вычистить, выштопать», то намеревается подарить ему плащ покойного деда, весь съеденный молью: «ну, что моль съела, то можно на фуражку употребить или пуговицы обтянуть; в твоем хозяйстве все пригодится. А что не подходит под цвет, так *не всяко лыко в строку».*

Покидая довольно значительное село, в котором, как мы помним, Столбиков рассчитывал пообедать, он увидел как «оба шестилетние мальчики пронесли господский обед: куски ржаного хлеба и на оловянном блюде чечевица с тремя кусочками солонины… Как ни был я голоден, но эти лакомства не взманили меня, и я, с презрением посмотрев на них, пошел со двора ужасного человека и направил путь свой по улице разоренного села».

В третьей части романа художественная выразительность и убедительность созданных в нем явлений, событий и лиц заметно слабеют. Прав был С. Д. Зубков, когда писал, что «заключительные разделы о том, как жил Столбиков после возвращения ему всех владений, самые слабые в романе. И это закономерно, поскольку они призваны символизировать неотвратимое торжество справедливости. Не говоря уже о том, что само понятие справедливости в данном случае весьма относительно: Столбиков, как он представлен писателем, сам по себе является самой большой несправедливостью. Паразитирующий дурачок, унаследовавший большое богатство, не хочет и не может, даже если бы хотел этого, воспользоваться им для доброго дела, полезного обществу или людям. Ничто не меняется и не может измениться»[173].

Почти все тогдашние печатные органы так или иначе откликнулись на роман Квитки, что само по себе служит подтверждением значимости того места, которое занял писатель в литературном процессе. При этом отчетливо выявилась граница, разделявшая его критиков. «Северная пчела» в рецензии,

подписанной «Л. Л.» (псевдоним В. Межевича), выражая недовольство «тяжелым, небрежным, неправильным слогом», утверждала, что в «Столбикове» представлена такая галерея мошенников и грабителей, которую «не только сыскать в действительности, но и вообразить трудно»[174].

«Библиотека для чтения» обвиняла писателя в том, что он является «наблюдателем луж и куч сору», что изображенные им «нравственные чудовища должны водиться в каком-нибудь безвестном захолустье», а «происшествия должны совершаться в каком-то воображении, которое вне пошлости не понимает ничего забавного и натурального!»[175] Таким образом, усилия обоих рецензентов были сосредоточены на том, чтобы скомпрометировать жизненную достоверность романа, вытравить заложенные в нем обличения уродств тогдашней социальной действительности.

Мягче по тону была рецензия в «Русском вестнике», которая не отрицала наличия в произведении и некоторых достоинств, но обвиняла автора в том, что он, «пиша слишком много, повторяет самого себя, чертит очерки, а не пишет картины, делается рисовальщиком, декоратором, забывая, что он живописец»[176].

Квитка реагировал на эти нападки достаточно болезненно. «Опять я, против воли и ожидания, попал на язык не только „Северной пчелы“, но, к унижению моему, даже фельетониста ее. <…> Пьяный Межевич, по вражде с Григорьевым, принял и меня *на зубки*. Конечно, вздор и точно все ложь, но очень неприятно видеть себя афишируемым каким-нибудь уличным болтуном, который принял дерзость разбирать, имею ли я ум, способности, дарование. Перебрал меня всего и что захотел, то и сказал. <…> После всех таких опытов как не ожидать, что всякий, во хмелю ли, от глупости, от злости и т. под. благородных побуждений, так опишет, украшая все ложью, клеветою, своими суждениями, – и после всего этого писать? Нет! В это время, когда пьяные, буйные, дерзкие мальчишки поднимают шум, визг, писк, можно ли говорить о чем-нибудь? Благоразумие велит замолчать».[177]

Скрытую реакцию на обрушившиеся на него нападки можно уловить и в одном из последующих писем к Плетневу, где Квитка разделяет его «священную обязанность блюсти высокое, благородное, святое русское слово от растления восставших на него единоплеменников и иноплеменников и как будто давших себе клятву употребить все, чтобы исказить его совершенно. О, да поможет Вам бог на священном поприще! Действуйте, мужи благородные. <…> Да повелено будет единственно Вашему сословию рассматривать изданное и давать ему суд и оценку, а недостойное гнать и не выпускать в свет. Это не будет стеснение,

угнетение произвольное – это мера для общего спасения. Не ропщет никто, если удерживают идти по опасному льду, въезжать в зараженные места, так точно и здесь. Безумец посетует, что его удерживают от делания глупостей, часто для всех зловредных, но сколько благомыслящих возблагодарят за такую спасительную меру и за подвиг неоценимый. Тогда только очистится наша литература, кощунство истребится, слово русское восстанет во всем своем величии, чистоте и славе»[178].

По понятным причинам Квитку особенно интересовало и волновало отношение к его роману Жуковского, которому он был посвящен. Он писал Плетневу: «…Мне бы очень желалось знать что он (Жуковский. – *Л. Ф.*) скажет вообще о „Столбикове“. Равно и о мнениях людей здравомыслящих и прямо видящих вещи: как ими принят „Столбиков“?»[179] А самого Жуковского просил принять «в снисходительное внимание» «моего гонимого судьбою „Столбикова“»[180].

Скажем прямо, называя свой роман «гонимым», Квитка несколько заострял ситуацию: наряду с критическими, он заслужил и одобрительные оценки. «Современник», на страницах которого появились отдельные главы, сопроводил их публикацию лестным отзывом, приведенным нами выше: «Это первая часть Столбикова, заключающая в себе тридцать пять глав самых живых, веселых, трогательных, словом – интереснейших рассказов», – и подчеркнул именно правдивость произведения, достоверность описанных в нем лиц и ситуаций: «Черты нравов самые верные»[181]. Одобрительно отозвался о романе Ф. А. Кони, назвавший Квитку в своей рецензии, напечатанной в «Литературной газете», одним из «самых оригинальных и талантливых наших писателей»[182]. Доброжелательный интерес к роману проявил и Н. А. Некрасов, осуществивший вместе с П. И. Григорьевым и П. С. Федоровым ее драматургическую переработку и привлекший к этому самого Квитку.

Особого внимания заслуживает рецензия Белинского. Критик, питавший к Квитке глубокую симпатию и сказавший о нем больше теплых слов, чем кто-либо из его современников, оценил это произведение критически, но именно потому, что хотел и ждал от него большего: «Не понимаем, что за охота такому почтенному и талантливому писателю, как г. Основьяненко, тратить время и труд на изображение глупцов, подобных Столбикову. Петр Столбиков сам, от своего лица, рассказывает историю своей жизни и в этом рассказе не всегда бывает верен собственному характеру: из пошлого глупца, идиота, иногда вдруг становится он умным и чувствительным человеком, а потом опять делается глупцом. В поступках он также противоречит

самому себе: то умно управляет имениями помещиков, то, сделавшись предводителем дворянства, подает губернатору проект о истреблении саранчи таким образом: пусть она ест хлеб, должны в это время оборвать у ней крылья, – или что-то в этом роде…»[183]

А закончил словами, в которых ставил Квитке в пример самого же Квитку: «Воля почтенного автора, а право, он хорошо бы поступил, если б, вместо того, чтоб повторять свои повести, принялся за такие очерки исторических лиц, как его „Головатый“ – эта поистине превосходная статья, обличающая в авторе большое дарование. Несколько таких статей – и за автором было бы упрочено почетное место в нашей литературе…»[184]

Интересно отметить, что дореволюционные издатели Квитки единодушно вычеркнули этот роман из его творческой биографии. В отличие от «Пана Халявского», он не только не выходил отдельными изданиями, но и не включался в собрания сочинений: после первой публикации он был «забыт» на 90 лет и лишь в 1931 г. стал доступен читателю и впервые подвергся текстологическому и научному анализу усилиями видного украиноведа И. Я. Айзенштока.

Глава пятая
Историк Украины, историк Харькова

В творческой биографии Квитки не трудно указать множество произведений, в которых он выступал как писатель, значительно количество и таких, которые принадлежат перу историка. Но особого внимания заслуживают те, надо сказать, нередкие случаи, когда, обращаясь к изображению исторических событий и лиц и сохраняя достоверность в изображении прошлого, максимально ограничивая или даже отказываясь от элементов творческого вымысла, он в полной мере оставался писателем. Именно такой является повесть «Головатый», опубликованная в 1839 г. в шестом томе «Отечественных записок» и снабженная там скромным подзаголовком «Материал для истории Малороссии».

Явившаяся результатом тщательного исследования исторических источников, имеющая несомненную и прямо демонстрируемую автором мемуарную основу, она представляет собой именно художественное произведение, в центре которого – полноценный, разносторонне и мастерски выписанный художественный образ, и жанровое определение его как повести, на наш взгляд, больше соответствует его литературной сущности, чем, например, «очерк» или «статья», как определял «Головатого» высоко оценивший эту вещь Белинский.

Особое место, принадлежащее этому произведению в творческой биографии Квитки, определяется и тем, что «Головатый» был первым значительным произведением Квитки на историческую тему. Написанные ранее или одновременно с ним заметки «О слободских полках» и «О Харькове и уездных городах Харьковской губернии» были не более чем подготовительными набросками к обширному исследованию «Основание Харькова» (1842). Практически одновременно с «Головатым» было создано «Предание о Гаркуше», в котором совмещались признаки и прозы, и драмы, а годом ранее – статьи «Украинцы» и «История театра в Харькове». Очевидно, что в этот период историческая тематика становится для Квитки преобладающей. Незадолго до смерти он успел еще написать опубликованные посмертно «Татарские набеги» и «Народные воспоминания, когда и для чего поставлены пушки в Харькове близ дома дворянского собрания».

Личность Головатого, которая была памятной во времена Квитки, позднее оказалась полузабыта, но не так давно воскрешена в историческом очерке Н. А. Тернавского «Антон Головатый в произведениях историков и писателей»[185].

Начинается он так: «Более всего в Антоне Андреевиче Головатом поражает его энергия, неудержимая воля, приверженность запорожским казачьим традициям, умение быть своим в светском обществе того времени и в казацком братском содружестве. Ум, сочетающийся с дипломатичностью и тактом, необыкновенная эрудиция, административные способности снискали ему уважение видных деятелей России конца XVIII века. Удивительно, как все эти качества, к которым следует прибавить литературные и музыкальные дарования, могли сочетаться в одном человеке и проявиться с такой силой».

Автор отмечает далее, что Квитке были известны материалы, которые публиковал В. В. Пассек в «Очерках России», издававшихся Квиткой в Харькове в 1838–1842 гг. совместно с И. И. Срезневским, и свое произведение он рассматривал как дополнение и уточнение работы В. Пассека. Но Квитка совершенно изменил манеру подачи материала, полностью преодолел научную сухость своего предшественника. Читателя подкупала не только простота и эмоциональность стиля, но и то, что писатель, не раз лично видевший и слушавший рассказы Антона Андреевича, приезжавшего к его отцу, директору Харьковского коллегиума, чтобы устроить учиться своих старших сыновей, выступает как очевидец изображаемых событий. Останавливался А. Головатый у Квиток во время своей депутации 1792 г. к царскому двору и при возвращении оттуда с грамотой и царскими дарами.

Вскользь напомнив известные факты, фигурирующие и у Пассека: решение Екатерины уничтожить Сечь и дать казакам «для жития Тамань или Черноморие с разными льготами», писатель сразу, уже с второй страницы переходит к описанию того, что видел сам десятилетним мальчиком: как вломился к ним страшный человек «в мохнатой шапке с длинными, висячими и также мохнатыми ушами, и все это усыпано сверху до низа клоками снега, – скорее можно было принять его за движущуюся снеговую гору!..»

Не обращая внимания на возражения, он проник в комнату, где лежал больной отец, и сбросив свои «волки5», т. е. волчью шубу, «явился обыкновенным „гостем“, порядочным господином; он одет был по-тогдашнему в синий сюртук и во всем с приличностью; голова, как должно, причесана и коса перевита черною лентою. Ни одного пистолета или кинжала я не приметил ни у гостя, ни у слуги его и поспешил с донесением, чтобы успокоить мать мою…»

Он привез письмо, в котором содержалась рекомендация «в любовь и расположение» Антона Головатого, отправляющегося в

Харьков и нуждающегося в советах и содействии. Симпатия, которую вызывает к себе пришелец, возрастает с каждым его словом и действием. Он усаживает сестру повествователя за рояль и когда та заиграла «дергунца», командует своему хлопцу: «Максиме, ану!» «Максим, сразу проложив панские волки5 в угол, заткнул полы своей бекеши и пустился отжигать и скоком, и боком, и через голову, и в разные присядки… ну, восхитил нас, детей! никогда еще не приезжал такой славный гость!..»

Дальше – больше. «Исчезла запорожская грубость; на чистом, употребительном языке начались расспросы, рассказы; любопытные события по Сечи, объяснение причин некоторым гласным происшествиям; сведения глубокие, острые замечания, тонкие суждения, – всё это лилось из уст Головатого. Он говорил просто, в рассказах и описаниях не подбирал слов, но говорил красно, сладко, свободно; чего неудобно было выразить так верно и сильно по-русски, тут он *украшал* – и точно украшал – речь запорожскою поговоркою, и все кстати и неподражаемо. Вместо прежнего страха, мать моя уже не отходила от беседующего Головатого».

Перейдя затем к рассказу о деятельности Головатого в Петербурге, т. е. о том, что не происходило на его глазах, Квитка проявляет не только удивительную осведомленность о поступках Головатого и Потемкина в ходе переговоров, определявших судьбу Сечи, но и о психологических побуждениях, предопределявших эти поступки. Потемкин «имел случай узнать голову Головатого и часто допускал его к себе», а Головатый, умевший разгадывать «отзывы князя», определял свои дальнейшие действия. Отдавая себе отчет в том, что Сечь, какой она была раньше, уже отжила, он «прокладывал дорогу к возобновлению казачества». «Не будет уже это Сечь, – говорил Головатый, – но особенное войско из прежних запорожцев; они будут иметь свою оседлость и порядок службы, приличный времени и обстоятельствам».

Головатый, предусматривая, что будущее войско должно быть в теснейшей прежнего связи с армиею и вообще с Россией, нашел необходимым и выгодным дать сыну своему, старшему, высшее, нежели бы мог доставить в своем кругу, образование. Слыша о Харькове, где издавна были отличные учебные заведения, он приехал познакомиться с отцом моим и, по его совету, определить сына в училище.

Талант Головатого как военачальника, его изобретательность при определении тактических решений в полной мере проявились при исполнении поручения Потемкина взять укрепление Березань, из которого турки «делали большие беспокойства».

Головатый немедленно послал «разведать о положении Березани и узнал, когда большая часть гарнизона вышла из Березани для собрания камыша. Головатый поспешил с флотилиею своею, пристал спокойно к берегу, без всякого шума высадил отряд и без дальнего сопротивления завладел укреплением. Отпустив суда свои, переодел своих турками и поставил из них караулы. Гарнизон возвратился и, не предполагая ничего, беспечно входил малыми частями в укрепление. Головатый забирал их по частям и, управившись как должно, с ключами укрепления спешил к Потемкину».

Не сплоховал Головатый и во время встречи с императрицей. «Лишь еще государыня подходила к Головатому, как он вдруг, подобно оживленной статуе, совершенно изменился, выпрямился, глаза его заблистали живым огнем, и черты лица оживились. Поклонясь государыне, он начал говорить громким голосом, чистым выговором и приятным тоном. <…> Головатый рассказывал после отцу моему, что когда государыня еще доходила к нему, то уже взирала на него с улыбкою, выражающею снисхождение, благость, кротость, предупредительное благоволение… одним словом, с улыбкою „своею“, невыразимою, неизъяснимою. <…> Без всякого сомнения, государыня благосклонно и милостиво приняла приветствие Головатого, потому что в тот же день объявлено было ему, чтобы он о нуждах войска своего представил князю П. А. Зубову».

Теперь нужно было добиться отдачи казакам Тамани. «Записка была отлично составлена. Подробно изложены были все заслуги черноморского войска в окончившуюся турецкую войну; выведена польза, какую может войско приносить, быв поселено на Тамани. <…> Головатый вошел в моду. Первейшие вельможи ласково принимали его; другие искали его знакомства, приглашали на обеды, занимались им, спешили туда, где он бывал, расспрашивали его о обычаях бывшей Сечи и существующих в черноморском войске, хохотали при его оригинальных остротах, дивились тонким замечаниям, справедливым суждениям и не смогли надивиться, ка5к человек, не получивший светского образования, не живший в большом свете, имел так много ума и справедливо, положительно судил обо всем. Головатый выезжал в гости с своею бандурою и, наигрывая на ней, пел запорожские песни. Дамы высшего круга слушали его с удовольствием и занимались беседою его».

Должен быть по достоинству оценен тот факт, что Шевченко, который, как мы помним, в самых сердечных словах писал Квитке о своей любви к нему и о том, как он знает его душу и сердце, единственное обращенное к нему стихотворение – «К

Основьяненко» написал именно после знакомства с «Головатым».

М. А. Максимович в статье «Трезвон о Квиткиной Марусе» писал об этом так: «Шевченко написал свое послание „К Основьяненку“, воодушевленный не „Марусею“ и не другими его малороссийскими повестями; он воодушевлен историческим очерком запорожца Головатого, который был написан Квиткою по-русски и напечатан в „Отечественных записках“ 1839 года (это известно мне достоверно из беседы с Шевченком, когда он гостил у меня на Михайловой Горе в июне 1859 года)»[186].

Как уже говорилось, к этому заключению следует относиться двояко: достоверно свидетельствуя об отношении Шевченко к «Головатому», оно неоправданно принижает его отношение к «Марусе» и другим малороссийским повестям, в частности к «Сердешной Оксане», которая, как считают современные шевченковеды, послужила «наиболее весомым стимулом – наряду с произведениями на подобную тему в русской литературе – для создания поэмы „Катерина“»[187].

Из самого же стихотворения «До Основ’яненка» стоит напомнить два фрагмента. Первый из них выражает скорбь по Украине, утратившей своих доблестных заступников-запорожцев, и вместе с тем – веру в нее, в торжество и бессмертие ее славы:

Вернітеся! «Не вернуться! —
Заграло, сказало
Синє море. – Не вернуться,
Навіки пропали!»
Правда, море, правда, синє!
Такая їх доля:
Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля.
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить…
Тільки ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люди, наша слава,
Слава України!

И второй, непосредственно обращенный к адресату послания, которого Шевченко с почтительной нежностью именует «батьком»:

…Тяжко, батьку,
Жити з ворогами!
Поборовся б і я, може,
Якби малось сили;
Заспівав би – був голосок,
Та позички з'їли.
Отаке-то лихо тяжке,
Батьку ти мій, друже!
Блужу в снігах та сам собі:
«Ой не шуми, луже!»
Не втну більше.
А ти, батьку,
Як сам здоров знаєш,
Тебе люди поважають,
Добрий голос маєш;
Співай же їм, мій голубе,
Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.
Про старину, про те диво,
Що було минуло…
Утни, батьку, щоб нехотя
На весь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!
Утни, батьку, орле сизий!
Нехай я заплачу,
Нехай свою Україну
Я ще раз побачу…[188]

* * *

«Знаменитый Гаркуша» – это не мое определение. Оно принадлежит Квитке-Основьяненко, автору повести, главным героем которой был заслуживший немалую известность, но остающийся в значительной степени загадочным исторический деятель. На первых страницах созданной несколько ранее повести «Головатый» Квитка вскользь упомянул о страхах, который вызывали рассказы о «знаменитом Гаркуше». А вскоре у него созрел замысел и самому написать об этом человеке, о котором ходило множество легенд, но достоверных сведений было мало. Даже даты его рождения и смерти не были известны писателю и точно не установлены по сей день.

По обыкновению, первым, с кем Квитка поделился своими соображениями, был редактор «Современника» П. А. Плетнев, которому он писал 13 сентября 1841 г.: «Не зная еще наверное, позволят ли Вам занятия по службе продолжать издание „Современника“, я все по требованию Вашему прилагаю у сего статью о „Гаркуше“. Гаркуша именно был, существовал и с такой удалью действовал. Вся Малороссия и теперь помнит его. От некоторых лиц, знавших его, слышавших суждения его, и от некоторых облагодетельствованных им все это слышано и изложено в точном духе его. Городничиха со всеми деяниями своими и в действиях своих против Гаркуши изложена по всей справедливости. <…> Все объясняю для того, чтобы не подумал кто, что это идеальный характер. А что слыл он во всеобщем мнении „разбойником“, то это не винит его. Кто мог постигнуть цель его? Смотрели издали и судили о грабежах его, не входя в намерения. <…> Какова латынь в статье? Но и это все, т. е. страсть Гаркуши украшать речь свою латынью, и это все истинно. *Молодой человек* в конце много хорошего мыслил, но правильно ли изложил свои мысли? Много бы обязали, если бы все сказанное им привели пером своим в стройность и дали бы силу речам его, которые бы действительно могли просветить заблуждающийся ум самонадеянного Гаркуши. Согласитесь, что в суждении молодого человека вся сентенция, и потому нужно бы, чтобы она была во всех частях обделана»[189]. Тем не менее, помня о том, что концепция созданного им образа не в полной мере совпадала с официозной, он был готов к противодействию цензуры и, заметив задержку в выходе «Современника», обеспокоенно спрашивал Плетнева: «…Не „Гаркуша“ ли навлек Вам новые хлопоты?»[190]

Как уже говорилось, сведения о Гаркуше, дошедшие до следующих поколений, весьма скудны, и, как обычно бывает в

таких случаях, достоверное смешано с легендарным. Мы знаем, что фамилия его отца была Николаенко, а прозвище «Гаркуша» он получил «по причине гаркавости в произношении речей» (он сильно картавил). По сведениям автора статьи о нем в «Русском биографическом словаре» Е. Александровича, Гаркуша «стал идейным разбойником: грабя богатых панов и громя начальство, благодетельствовал мужику и, таким образом, являлся живым протестом против установившегося порядка с притеснением крестьян помещиками и эксплуатацией казаков войсковой старшиной. <…> Своей смелостью и отвагой при грабежах он наводил ужас на помещиков и властей, а ловкостью и проворством, помогавшим ему не раз бежать из тюрьмы, окружил свое имя в народном понятии ореолом легендарного героя. Рассказывали, что его пуля не берет и что есть у него „разрыв-трава“, которая всякое железо разрывает»[191].

Неудивительно, что образ благородного разбойника, некоего украинского Робин Гуда привлекал к себе внимание и был неоднократно запечатлен и в литературе, и в фольклоре, и в публицистике. Анонимный автор повести «Гаркуша», помещенной в 1831 г. в «Украинском вестнике», писал: «Спросите кого хотите в Малороссии о знаменитом разбойнике Гаркуше, всякий с охотой вам расскажет все, что только слышал о нем, и, надобно заметить, рассказы его будут оживлены веселостью совершенно особенного рода, как будто действия ему нравятся, как будто в его поступках он принимал участие».

В составленном М. А. Максимовичем сборнике «Украинских народных песен» (1834) находим и такие строки:

> А Гаркуша, добра душа, на шлях поглядає,
> Свою любу Горпиницю вижидає…[192]

И Котляревский в «Энеиде», описывая палаты царя Латина, включает Гаркушу в ряд знаменитых разбойников:

> …Как Соловей-разбойник жил;
> Как Пересвет побил Мамая;
> Как в Польшу Железняк ходил.
> Портрет француза был – Картуша,
> И Ванька Каин, и Гаркуша…
> Залюбовался царь Латин[193].

Таким образом, у известного историка Украины, фольклориста и этнографа Н. А. Маркевича были все основания

утверждать, что имя Гаркуши было так же знаменито на Украине, как имена Ваньки Каина или Стеньки Разина в северной Руси[194].

Поддается естественному объяснению и то, что симпатии к нему выявились особенно явно в первой половине 1820-х гг., когда в русском обществе созревали идеи вольнолюбия и революционности, с наибольшей полнотой выразившие себя в подготовке и осуществлении восстания декабристов. В такой атмосфере практически одновременно создавались два произведения: роман В. Т. Нарежного «Гаркуша, малороссийский разбойник» и повесть О. М. Сомова «Гайдамак». Оба автора были биографически связаны с Украиной, у обоих деятельность главного героя разворачивается на фоне картин украинской природы и украинского быта. И роман Нарежного, и повесть Сомова были хорошо известны Квитке, видимо, сослужили ему немалую службу в процессе его собственного творчества, и их нельзя обойти молчанием.

Нарежный создает образ народного мстителя, отражая распространенное понимание облика «справедливого разбойника», защитника обездоленных крестьянских масс. В глухом лесу он создает вольное братство, к нему присоединяются крестьяне, бежавшие от помещичьего произвола. Вместе с ними он нападает на соседних помещиков, творит суд и расправу, наказывает жестоких и вероломных господ, помогая беднякам. Создавая образ «благородного разбойника», Нарежный следовал не столько исторической правде, сколько романтической идеализации своего героя в духе шиллеровского Карла Моора, отдав немалую дань условности и мелодраматической неестественности персонажа.

Но важно другое: он полностью оправдывает борьбу своего героя с помещиками и властями, священниками, судьями, которые угнетали и разоряли народ. Поэтому столь значительным и социально-обобщенным является монолог Гаркуши, который говорит, отвечая на обвинения его в разбойничестве: «Кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пан, который за принесенное в счет оброка крестьянкою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержать на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит изобличенному в бездельстве компанейщику: „Что дашь, чтобы я оправдал тебя?“ Не тот ли священник, который, сказав в церкви: „Не взирайте на лица сильных“, в угодность помещику погребает тихонько забитых батогами или уморенных голодом в хлебных ямах? О беззаконники! Вы забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя? Так! Я мститель и не признаю себе другого имени!»[195]

В том же 1825 г., когда Нарежный перед смертью дописывал своего Гаркушу, Сомов создал беллетристический этюд «Гайдамак» с подзаголовком «Малороссийская быль». Произведение предназначалось для декабристского альманаха «Звездочка», наследника прославленной «Полярной звезды», но из-за восстания 14 декабря он в свет не вышел, и «Гайдамак» был напечатан в 1826 г. в «Невском альманахе». Тем не менее, Сомову пришлось давать объяснения шефу жандармов Бенкендорфу, обеспокоенному проникновением в печать произведений, приобщенных к материалам следствия по делу декабристов. Сюжет о Гаркуше Сомов продолжал разрабатывать и в начале 1830-х гг., задуман был обширный роман, но результатом стали лишь несколько разрозненных фрагментов, появлявшихся под заглавиями «Гайдамак. Главы из малороссийской повести» в журналах и альманахах («Северные цветы на 1828 год», «Сын отечества», «Денница на 1830 год»).

Образ главного героя овеян несомненной симпатией автора, акцентирующего его близость к народу: «В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя». «Казалось, что шайка гайдамаков угадывала даже мысли своего атамана. Он стоял, оперевшись правою рукою на пистолет, бывший у него за поясом; лицо его было спокойно и не выражало ни малейшей страсти; но ястребиный взор его в один миг перелетал с места на место и обозревал все, что вокруг него происходило»[196].

Когда мы обращаемся к произведению Квитки, то первое, что обращает на себя внимание, это его жанровое своеобразие: в нем как бы слились два таланта автора, зарекомендовавшего себя и как беллетрист, и как драматург: его «Предание о Гаркуше» – наполовину повесть, наполовину пьеса. Начинается она диалогом, во время которого квартальный докладывает городничему об арестанте, который сидит на одном хлебе и воде, но ни в чем не признается, а лишь песенки попевает. Здесь же упоминается, что жена городничего проявляет к его делу большой интерес, что существенно для дальнейшего развития событий.

Затем выясняется, что у арестанта есть друзья на свободе: «его берегли до сего часу крепко-накрепко; не давали ему и есть, а ему кто-то со стороны приносил всего. Мы никак не додумались, кто ему это приносил? А не раз заставали, что он доедает поросятину да еще и горилку пьет. Мы его станем бранить и приказывать, чтобы он ничего не ел, а он в ответ песни поет»[197]. Жену городничего это приводит в ярость, и она

взыскивает с квартального и других «за слабый присмотр».

Более детальную информацию приносит новое действующее лицо, именуемое «Гость». Мы узнаем о появлении в окрестных местах какой-то шайки, «суеверный простой народ распускает ужасные нелепости об этой шайке. Надобно вам знать, что за несколько лет явился какой-то шалун, по прозванию Гаркуша. Собрал небольшую шайку, ходил с нею открыто, проповедывал какие-то странные идеи. Его очень скоро схватили и упрятали в Сибирь. Теперь действующая у нас шайка распускает слухи, что будто этот самый Гаркуша вырвался из Сибири и атаманствует над ними. <…> Надобно правду сказать, не слышно, чтобы эти разбойники кого убивали, тиранили или зажигали где; они только грабят, а у иного оставят что-нибудь для прожития»[198].

И вот появляется сам Гаркуша. Первоначально он именуется как Всадник. Позднее будет фигурировать и под другими обозначениями: Гость, Неизвестный, Пан и т. п. Но Квитка позаботился о том, чтобы наделить всех этих «персонажей» приметой, помогающей читателю опознавать их как одно лицо. Такой приметой было вкрапление в их речь латинских изречений. Это был продуманный ход, которому писатель придавал немалое значение. Не случайно он спрашивал Плетнева: «Какова латынь в статье?» – и заверял его, что «и это все, т. е. страсть Гаркуши украшать речь свою латынью, и это все истинно».

Узнав, что собеседники считают Гаркушу «душегубцем», «колдуном», «извергом», но ни одну из его жертв не могут назвать по имени, Всадник говорит им: «Слушайте, Гаркуша никого не убил и не погубит никого ни за какие блага в мире. Он и не грабит благо нажитого. Одним словом, Гаркуша ни одному человеку безвинно не причинил даже испуга, не только зла. Вся цель Гаркуши исправить людей и истребить злоупотребления. <…> Известно ли вам, что Гаркуша обучался в Киевской академии? И как он учился! Гаркуша в классе философии был из отличных, об этом можно удостовериться из списков академических. На диспутах он побеждал своих противников. И с такими сведениями, познаниями, понятиями как можно, чтобы он вдался в разбойничество, душегубство и еще более подлый грабеж для своей пользы? Не унижайте человека с такою душою. <…> Будучи одарен чистым, здравым рассудком, видя вещи, как они есть, сострадая угнетенным, не видя благородного употребления даров, случайно людьми полученных, он негодовал, скорбел и, почувствовав в себе призвание пресечь зло, искоренить злоупотребления, дать способы добродетельному действовать по чувствам своим, а у сильного отнять возможность угнетать слабого, он принялся действовать, по молодости и неопытности,

без обдуманного плана. Его не поняли, схватили, судили и сослали было на житье в Сибирь»[199]. Услышав такую характеристику, собеседники Всадника высказывают предположение, что он сам из сторонников Гаркуши, на что получают «хладнокровный» ответ: «Нет, я не из числа их, а я сам Гаркуша»[200].

В другом эпизоде Гаркуша, фигурирующий на этот раз как Гость, но также начинающий свой монолог латинскими изречениями, возражает своим собеседникам, распинающимся о жестокостях и тиранствах пресловутого разбойника: «Что же, если я вам скажу, что это все на Гаркушу клевета? Если я знаю достоверно, что он не пролил ни одной капли крови, а тем более не убил никого? Знаю из самых достоверных источников… и слышал от испытавших то людей, что он не только не имеет в виду корысти, но помогает бедным, поправляет состояние разорившихся от несчастных случаев…»

Вот отрывок из еще одного разговора, в ходе которого герой повести объясняет и оправдывает свои действия. «Гаркуша человек с душою и сердцем, каким желательно было бы, чтобы многие одарены были. Людей любит горячо, как следует братий. В каждом человеке, не разбирая звания, состояния, вероисповедания даже, он видит ближнего, и чтобы устроить благо его, он жизнью готов пожертвовать. <…> Он не убивает, но, узнав о лихоимстве судей, корыстолюбии их, несправедливом управлении, является, выставляет перед ними пороки, злоупотребления, неправды их, стремится еще навести их на истинный путь убеждениями, увещеваниями, угрозами – и воздать не кающимся по делам их. Говорят, Гаркуша грабитель. Вот с какою целью отнимает он у иного достояние. Услышав о скупце, собравшем или, правильнее сказать, содравшем, из чего только мог, великое богатство и не обращающем его на общую пользу; проведав о зловредном ростовщике, пользующемся слабостью ближнего и разорившем его непомерными процентами и лихвенными начетами, Гаркуша является у таких, отбирает неправедно ими нажитое, берет к себе, но не для себя. <…> Гаркуша искореняет зло, преследует пороки людей»[201].

Но на последних страницах повести в ее авторе словно пробудился законопослушный подданный николаевской империи и предшествующие оправдания деятельности Гаркуши сменяются ее осуждением. Гаркуше предстоит оппонент, обозначенный как «Молодой человек», и он выдвигает суждения, на которые самоотверженный разбойник не находит что возразить. Гаркуша, утверждает он, заслуживал бы извинения в неустроенном обществе, но в государстве, где суд определяет справедливую

меру наказаний, где власть печется об общем благе и спокойствии каждого, читай: в николаевской России, «Гаркуша есть злодей, возмутитель общего спокойствия, требующий всеобщего преследования и искоренения зловредных действий его»[202].

Пространный монолог «Молодого человека», из которого мы приведем лишь некоторые извлечения, – не искусственное прикрытие, направленное на то, чтобы обезопасить текст от претензий цензуры. Все его построение, тональность, система приводимых аргументов свидетельствуют о том, что он отражал глубинные убеждения писателя. Действия Гаркуши, которыми он берет на себя установление справедливости и правопорядка, представляют собой самоуправство, а «самоуправство нетерпимо нигде, и оно разрушает все меры правительства, для блага нашего устраиваемые. <…> Что выйдет из того? Всеобщая путаница, хаос, разрушение всякого порядка, уничтожение власти правительства»[203].

Здесь следует многозначительная ремарка, дополнительно дающая понять, кто, по мнению автора, прав, а кто не прав в этом споре: «Гаркуша силился что-то сказать; молодой человек выжидал, но, видя, что Гаркуша не находил слов, продолжал говорить». А говорит он вот что: «Решительно я не признаю в Гаркуше ума, а почитаю его возгордившимся ложными понятиями своими и, при непозволительных средствах, дерзнувшим поступать самовольно. Он гордится, что не убил никого? Но из слов ваших видно, что он не доверяет правительству, следственно, он враг его и потому всех вообще. Одна гордость Гаркуши утвердила в нем мысль, что он понимает вещи яснее других, видит предметы с настоящей точки и имеет право искоренять зло. Допустив каждого действовать свободно, к чему будут распоряжения властей, так чинно, стройно и, не забудьте, человеколюбиво последующих? <…>…как действует Гаркуша? Избрав людей из отверженных обществом, уполномочивает их разыскивать все неправды по их понятию, принимая за истину клеветы, что кто-нибудь живет, действует, даже мыслит не так, как бы желалось ему; он наезжает со всей видимостью как истый разбойник. <…> Кто дал ему на это право? Кто уполномочил его действовать? <…> Одно имя его произносится с ужасом, везде преследуют его и, наконец, готовы в храме Божием призвать на него месть праведного судии небесного за все то зло, которое он, один почитая добром, разливает во всем здешнем крае.

Гаркуша *(в большом смущении)*. Зло, говоришь ты?

Молодой человек *(с таким же жаром)*. Говорю и утверждаю, что Гаркуша рассеивает у нас величайшее зло, и потому он

изверг, злодей. Все мы, благоденствующие под кровом мудрого правительства, ревностно должны ополчиться против врага, нарушающего общее спокойствие, отнимающего у правительства драгоценное время, нужное для распоряжений к общему благу. Разбойничай, грабь Гаркуша, он меньше причинил бы в обществе зла; но настоящие действия его превышают всякое злодеяние, убивают нравственность людей, поселяют в них мысли о слабости сил правительства и бездействии законного порядка, а в подобно дерзких, буйных умах могут поселить мысль, что и каждый может действовать так же свободно. Тогда-то может возникнуть всеобщее бедствие, о котором сказал я. И потому-то следует Гаркушу гнать, истребить, проклясть его!..»[204]

Конечно, Квитка видел, в какой степени этот приговор противоречит всему предшествующему повествованию о деятельности Гаркуши, это проявилось и в цитированном выше письме к Плетневу: с одной стороны, Гаркуша «с такой удалью действовал» и «некоторых облагодетельствовал» и не его вина, что он слыл разбойником, с другой – «заблуждающийся ум самонадеянного Гаркуши» и «в суждении молодого человека вся сентенция».

Найти выход из этого противоречия Квитка читателю не доверил: он подсказан раскаянием самого Гаркуши. Верный обыкновению «украшать речь свою латынью», он «встал, ходил, погрузясь в размышления; потом сказал мрачно: „Ori juvenis praesidet veritas!“ (Истина говорит устами юноши)». Потом он сказал отцу молодого человека: «Я полюбил сына вашего. В нем много доброго», – и передал для него триста рублей. Но тот отказался от этого подарка и сказал Гаркуше: «Эти деньги не ваши. Они вами отняты. Слезы, а может быть, и кровь, пролитые при похищении их, вопиют о мщении».

«Гаркуша затрясся, скомкал в руках деньги, швырнул их оземь и бросился стремительно из комнаты. Сидя в кибитке своей, погруженный в размышления, он иногда проговаривал: „Истина говорила устами юноши!.. Не тот путь я избрал!.. Проклятие мне? О, если бы не поздно!..“»[205]

А заканчивается повесть такими словами: «Когда объявили Гаркуше решительный о нем судебный приговор, он, поклоняясь присутствующим, сказал: „Справедливо. При всем учении моем, я ложно понял вещи, а пред законом и в том уже преступник, что принялся действовать самовластно. Участь мою еще прежде вас истина нарекла устами юноши“»[206].

«Предание о Гаркуше» не принадлежит к числу наиболее известных произведений Квитки и в сущности находится на периферии внимания как его читателей, так и исследователей.

Вместе с тем трудно назвать что-либо из им написанного, где так определенно и однозначно отразилась бы его общественно-политическая позиция.

Квитка – сатирик, и критика современных ему порядков и нравов занимает в его творчестве важное место. Когда он обличал явления, происходившие на его глазах, он проявлял гражданскую зоркость, его критика бывала жесткой и язвительной. Его повесть «Конотопская ведьма», в которой изображен случайно попавший на должность сотника неграмотный и умевший считать только до тридцати Забрёха, восхищала Ивана Франко, а другой персонаж той же повести, волостной писарь Пистряк, был, по отзыву одного из рецензентов, «достоин пера Мольера и Диккенса»[207].

Но мишенью критики Квитки, как правило, оставались так сказать, «низовые» явления тогдашней действительности: своеволие и жадность помещиков и чиновников, мздоимство судей, мещанские нравы и обычаи, разного рода жульничество, эгоизм и стяжательство в общественном и семейном быте и т. п. Искоренение этих зол он склонен был связывать с мудрыми действиями вышестоящих инстанций. Так, Забрёху устраняет с его должности черниговское начальство.

Квитка всегда оставался убежденным и принципиальным противником любых форм бунтарства, которое не может быть оправдано никакими, даже самыми благородными побуждениями. Искоренение недостатков – это забота и исключительное право правительства, высокопоставленных властей и, наконец, благодетельного монарха. Характерно, что свое намерение изобразить отрицательные явления современной ему действительности он определял словами: «возопить перед правительством».

Ни в каком другом произведении писателя эти его воззрения не выразились с такой определенностью, как в «Предании о Гаркуше». Это не просто полуповесть, полупьеса. В монологах Молодого человека, заключающих в себе, по собственному указанию автора, основную идею вещи, или, как он говорит, ее «сентенцию», отчетливо проступают жанрово-стилевые особенности политического трактата, своего рода манифеста.

Уж как восхищается писатель бескорыстием и благородством Тихона Бруса, главного героя повести «Делай добро, и тебе будет добро»! Но при всем этом он ощущает необходимость и настойчиво заботится, чтобы делаемое Брусом добро было санкционировано, одобрено верховной властью: приезжающими «генералом с кистями» и губернатором, а из далекого Петербурга – самим царем.

Вслушаемся в детали описания того, как вознаграждаются

человеколюбие и самоотверженность Бруса, во всю восторженную тональность, в которой изливаются верноподданнические чувства писателя (прописные буквы и разрядки авторского текста сохранены): «К самому царю дошло до сведения, что в этот голодный год Тихон делал, как старался, как людей пропитывал, и как за царскую казну исправно покупал и порядком его всем раздавал; а что наиболее, что сам всего своего имения лишился и все употребил на пропитание людей в своем селе. Так за это все царь прислал ему медаль серебряную, великую, а на ней самое таки настоящее царское лице, и повелевал ту медаль надеть на Тихона на ленте, да широкой, да красной, как обыкновенно бывает кавалерия. Да еще сверх того повелевал из своей царской казны выкупить все имущество, что заложил Тихон, и его, и женино, и детское, и пополнить ему все деньги, сколько он издержал на пропитание людское»[208].

Подобных велеречивых славословий у Квитки не много. Но приверженность писателя такому пониманию вещей дает себя знать на каждом шагу. Один из самых отрицательных из созданных им образов, персонаж повести «Перекатиполе», вор и убийца Денис Лискотун говорит: «Пусть судит меня Бог и Государь!»[209] Квитка выразил себя и здесь, уже в том, что государь поставлен на один уровень с Богом. Даже оба эти слова уравнены начальными прописными буквами, хотя тогдашние орфографические нормы предписывали ее лишь в первом из них.

Как это нередко бывает в настоящей литературе, в «Предании о Гаркуше» воплотились две правды. Присутствует в нем и симпатия к главному герою: добрые побуждения Гаркуши писателю близки, он изображает их с нескрываемым сочувствием. Но оправдать его поведение, как это сделали Сомов и Нарежный, Квитка не может. Любые попытки противодействовать существующим порокам со стороны отдельного гражданина он считает недопустимыми.

Как борется за справедливость любимая его героиня, «козырь-девка», самоотверженная Ивга? Обивает пороги, ходит по инстанциям: умоляет о помощи писаря, одаривает бубликами судью, чтобы он ознакомился с делом, – так можно, ее действия автор одобряет, и в итоге они увенчиваются успехом, потому что покорные и приниженные мольбы попавшей в беду женщины находят понимание у справедливого и добросовестного губернатора.

А вот путь, на который стал Гаркуша, путь борьбы за свои права, покарания творящихся бесчинств – решительно отвергнут. Верноподданность законопослушного монархиста берет в Квитке верх, берет настолько, что он не ограничивается осуждением

своего героя, но и заставляет его самого отречься от себя, бесповоротно раскаяться в своей предыдущей деятельности. Все это заслуживает особого внимания и потому, что «Предание о Гаркуше» появилось немногим более чем за год до смерти писателя. Это произведение итоговое, запечатлевшее те убеждения, которые были им выношены на протяжении всей предшествующей жизни и с которыми он покинул этот мир.

* * *

Уже в очерке о Головатом был налицо мемуарный элемент. Но там это был именно элемент. Детские впечатления от внешности и манеры поведения изображаемого лица служили лишь отправной точкой, предварявшей рассказ о личности и поступках крупного политического деятеля. Основное содержание этого рассказа было почерпнуто Квиткой из различных источников впоследствии и лишь наложилось на воспоминания о появлении Головатого в его доме.

Очерк «1812 год в провинции» – совсем иное дело. Это, можно сказать, единственное действительно мемуарное произведение, созданное Квиткой на протяжении его творческого пути. Во время Отечественной войны писателю было тридцать четыре года, он не только видел происходящее, но и осмысливал его с высоты немалого жизненного опыта. Кроме того, она, несомненно, была самым значительным из исторических событий, выпавших на его век. Незадолго до смерти, восстанавливая панораму происходившего три десятилетия тому назад, он должен был ощущать это особенно ясно.

Описываемое в очерке начинается 11 июля 1812 года. Более двух недель прошло с того дня, как армия Наполеона форсировала Неман и ступила на русскую землю, но никто еще об этом не знает. В доме Тимофея Петровича и Ульяны Ивановны счастливые родители готовятся поздравить с днем ангела свою единственную дочь Ольгу Тимофеевну, славящуюся во всем уезде красотою, умом, скромностью и добронравием, и по тому случаю в доме великие хлопоты, все в заботах, как обыкновенно бывает в доме хозяев-хлебосолов радушных, ожидающих большого числа гостей.

Но внезапно всеобщее торжество нарушает страшная новость – что напал на Россию Бонапарт и «необъятная их сила вошла». «Не бывать тому! – диким и страшным голосом вскричал Тимофей Петрович и начал ходить по комнате большими шагами. <…> – Русская земля осквернена… и кем же?.. Французами!.. И

об этом молчать?.. Кричать во все концы… трубить должно!.. Но, полно, правда ли это?.. Знаешь, кума? Земля потрясется, если враг ногою ступит на нашу матушку Россию».

Когда один из гостей прочел во всеуслышание копию с государева рескрипта, «все зашумело в собрании… „Как? Злодеи смели ворваться к нам?.. Встретим же мы незваных гостей!.. Ах, как бы скорее распоряжения!.. Все брошу, с сыном иду“. – „… Продаю имение, кидаю все, вступлю в службу…“ – „Марья Петровна проживет и без меня, стану в ряды, не отвык еще владеть ружьем“. – „Да куда им! Костей не унесут; дома и щепка бьет“. – „…Все восстанем…“ И много, много подобного разговора раздавалось по всем комнатам».

Начиная с этого момента – поступления первого известия о вторжении Наполеона в Россию и реакции на него русского общества – Квитка последовательно проведет нас через всю цепь последующих событий, но изображаться они будут не непосредственно, а так как они отражались в восприятии и чувствах современников – представителей разных слоев общества. Особого внимания заслуживает важный факт – полное отсутствие в этом произведении авторского «я», образа повествователя. Если мы вспомним, как любил Квитка всегда и по любым поводам выражать свое отношения к описываемым им людям и событиям, то оценим эту его творческую позицию как принципиальную и даже демонстративную.

Он был верен избранному им названию очерка – он изображал войну 1812 года в восприятии русской провинции и устранял себя даже от роли посредника между изображаемыми им лицами и читателем. Он воспроизводил разговоры, которые слышал, но воздерживался от любых собственных оценок и выражения собственных эмоций. Устраняя из этого произведения автора, он стремился повысить доверие к объективности его содержания и, надо думать, добился желаемого результата. В огромном массиве мемуарной литературы об Отечественной войне его очерку принадлежит особое место.

Понятно, что первые вести, которые приходили с последних дней июня, были об отступлении русской армии, и вот какие толки они вызывали:

«– Что бы это значило, – спросил Тимофей Петрович, – столько областей добровольно отдано неприятелю? Нигде не дрались. Ведут их внутрь России. Не лучше ли было бы удержать всю силу в пограничных губерниях, не так изобилующих продовольствием? Войдет враг в достаточный на все край, тогда трудно будет выжить его.

– Выживем, Тимофей Петрович. Куда бы он ни забрался,

выживем. Должен быть у нас свой особый план. Наше дело не унывать, а со всею горячностью исполнять долг свой. Без умиления нельзя видеть, что вся губерния опустела и все по призыву спешат в губернский город. Даже старики выехали».

На утверждение «Закон учит нас, что о ближних должно прежде всего помышлять» – следует ответ: «Отечество есть первейший священный ближний наш». Квитка восстанавливает перед читателем факты, подтверждающие, что оно получило широчайшее распространение: жена отпускала мужа, с которым в продолжение двадцатилетней супружеской жизни едва ли расставалась на две недели, отпускала готового вступить в ополчение, которое, быть может, тотчас и выступит против ужасных, лютых французов; мать готовилась отпустить сына в армию, где неминуемо будет сеча, сеча жестокая, где прольются реки крови; туда, на эту же брань, невеста отпускала жениха, который ей был дан, которому не успела высказать и от которого не успела выслушать всего для них так дорогого… и вот, вслед за первым поцелуем любви, она получает поцелуй прощальный… и, может быть, последний!..

Ежедневно приходили вести об отступлении русской армии, о несметном числе войск, вторгшихся на нашу землю, о бедствиях и ужасах, которые они здесь творили. Все откликнулись на воззвание царя с призывом к составлению ополчения, «толпами ходили, толковали, судили, рядили – и все об одном: как удобнее собрать ополчение, чрез сколько времени выступить, идти к Смоленску, встретить французов, разбить, выгнать, выкинуть врага из России…». Приходит весть, что Смоленск уже взят, «наши все отступают по дороге к Москве… Об этом одном говорили, сошедшись, знакомые между собою, а незнакомые, проходившие мимо их, видя смущение на их лицах, сами смущались, прислушиваясь к рассказам и рассуждениям их, и спешили потолковать о слышанном с своими знакомыми».

Стало известно о сражении близ Можайска, при Бородино, «в глазах тревожащейся Москвы, с страхом и трепетом ожидающей решения участи своей». «Народ простой не выдерживал хладнокровно: собираясь кучами, говорили громко:

– Зачем наше начальство ждет повеления? Как дойдут к нам повеления, когда страшная сила пресекла все пути? Скажите нам слово, и мы в порядке пойдем, побежим отстаивать нашу родную матушку Москву!» Всех радовало, что Кутузов за сражение при Бородино был награжден чином фельдмаршала, следовательно, сражение кончилось в пользу нашу и теперь врага погонят по-русски. Когда же стало известно, что неприятеля впустили в древнюю столицу, «слышны были клики, к концу превратившиеся

в вопли:

– Где же сама Москва?.. Что сталось с нею?.. Ужели враг одолел ее?.. Неужели не защитили ее православные? Ужели дали врагу осквернить ее?.. Кровию бы их, нечестивых, залить все улицы, чтоб смыть окаянные следы их!.. Стало, пали и все наши защитники, наши оберегатели, на которых была вся наша надежда!.. Что будет с нами?.. Нет Москвы!.. Прощай, наша кормилица… мать наша родная и по святыне твоей, и по крови русской!.. Прощай, золотоверхая… краса всего мира!.. Русские не могли отстоять тебя, родную!..»

Но звучат и другие голоса, что князь Кутузов осторожен и мудр. «Почему мы можем знать, с каким намерением отдана Москва французу? Может, он в ней и гроб свой найдет». «… Окружим Москву, не допустим никакого подвоза, птице не дадим перелететь: пусть окаянный француз весь до единого переколеет там, не выпустим живьем никого, хотя бы и сам Бонапарте; узнает наше угощение. Разорит Москву? – не велика беда. Русь-матушка велика: с миру по нитке сложимся, десять городов таких, как Москва, шутя выстроим, а лишь бы нам потешиться, слышите, – стенами города задушить окаянного».

«– Москва горит!.. Враг жжет святой град!.. Храмы Божия оскверняет, святыню из них расхитил, попрал, поругал и ввел в церкви коней, и наполнил всякою мерзостью! В церкви Василия Блаженного учредил трактир! В Успенском соборе со всех икон содраны с поруганьем оклады…» Длинную вереницу подобных стенаний, где крохи правды щедро уснащены невероятными домыслами, Квитка сопровождает таким замечанием: «Это были первые слухи о бедствующей Москве в руках неприятеля! Все это передано от ушедших из Москвы очевидцев. Известно уже было, какие части города, какие лучшие здания сгорели, уничтожены».

Он рассказывает о встрече губернатора с делегацией граждан, изъяснявших ему, как им больно слышать о страшной беде, постигшей матушку Москву, выражавших опасения, «что супостат всеми силами готовится напасть и на самый Петербург», предлагающих свои услуги и просящих позволения «и нам начинать дело, как долг наш требует». Губернатор убеждает их, что армия наша сильна, что неприятель от злости и отчаяния палит и разоряет город, что Петербург защищает храбрый Витгенштейн и никогда не допустит к нему неприятеля, а между тем здесь хитрый и осторожный Кутузов не выпустит никого из злодеев и отберет назад Москву.

А пока известия, доходившие из Москвы, лишь «увеличивали скорбь и тугу»: «семейства расторгнуты»: муж не знает, где отыскать жену, оставленную в доме еще до нашествия врага,

малютки-дети, не могущие даже фамилий своих родителей объяснить, взяты сострадательными людьми на улице и вывезены из города, подробно, на нескольких страницах рассказана драматическая история скитаний девушки, оказавшейся без всякой надежды и защиты, не знающей, где преклонить голову, но обласканной, окруженной заботой и к тому же встречающей своего брата, израненного в сражении при Бородино, лежавшего между убитыми и едва не погребенного вместе с ними, почти чудом попавшего в какой-то госпиталь.

Но со временем стали поступать и отрадные известия: о том, что Наполеон предлагает государю о мире, но государь решил «не положить меча, пока не истребит последнего врага». «Невыразимую радость» вызвало известие о поражении неприятеля при Тарутине, донесение об оставлении французами Москвы и вступлении туда русских войск: «храмы Божии наполнились всякого звания народом, как и во дни скорби. Лились слезы, но уже не горестные, не от ожиданий бедствий, но слезы благодарности за явную помощь, свыше к спасению посланную».

«Известия, одно утешительнее другого, приходили все чаще. Уже армия наша, разбив французов при Малом Ярославце, гнала супостатов далее, и известия из армии, по назначению Кутузова, получались в этой губернии своевременно. <…> Решительно можно было назначить день, когда враг совершенно будет изгнан из нашего отечества. Возобновившиеся „Московские ведомости“ читались с каким-то умилением, перечитывались с наслаждением; все горевали при сведениях о постигшем разорении кормилицы-столицы. Учредившееся сообщение с Петербургом усугубило радость: получены были книжки вновь, во дни скорби, явившегося журнала „Сын отечества“».

У Квитки с этим журналом были свои счеты: он видел в нем нападки на свои произведения его редактора Н. И. Греча, и он не удержался от того, чтобы напомнить, что в 1812 году репутация «Сына отечества» была совсем не такой, какой стала в начале 1840-х: «В нынешнее время, при нынешнем достоинстве „Сына отечества“ это покажется странным и подаст невыгодное мнение о вкусе и толке тогдашних читателей его; но этот журнал *в свое время* был истинно хорош и удовлетворителен». «Все тогдашние журналы, много доставлявшие сведений о важной эпохе отечества, читались с неохлаждаемым любопытством и жадностью, – продолжает он свои воспоминания. – Теперь только достигшая сюда пьеса „Певец во стане русских“ принята была с невыразимым восторгом. Утвердительно можно сказать, что ее знали наизусть, не читав, а только слыша повторяемую везде и

всеми».

«Конец увенчал дело, – пишет Квитка в завершение своего очерка. – Получено известие о переправе чрез Березину, переправе гибельной, ужасной, неизъяснимой в описании. Получены и подробности, не описанные в официальном объявлении…» События 1812 года особенно дороги Квитке и тем, что перед лицом национальной трагедии русское общество пережило пору необыкновенного сплочения, когда на время исчезли или, по меньшей мере, отошли на второй план внутренние конфликты, отличия в жизни и образе мыслей разных сословий. Не без намерения привить это современникам, он так настойчиво фиксирует внимание на фактах прошлого.

«– Всему конец, всему конец! – раздавалось в гостиных».

«– Всему конец, всему конец! – раздавалось на площадях, среди ликующего народа. – На-тка прочти…» Это «на-тка», которое, конечно, нельзя было услышать в гостиных, и весь последующий пространный диалог насыщен простонародной лексикой, подчеркивающей, что он «подслушан» среди простого народа: «Чай, Бонапарт…», «Знать, солоно покушали…», «Степаныч», «Тихоныч», «молебствие», «Чермное море», «наместо израильтян», «не бойсь» и т. п.

Как уже говорилось, в очерке практически отсутствует авторское «я» повествователя. Затерянный на протяжении более чем сотни страниц эпизод о том, как «сочинил я, сходно с моими чувствами чувствительную песню», можно рассматривать как исключение. Но это отсутствие кажущееся. В действительности Квитка, присущий ему эмоциональный мир, свойственная ему манера живо и даже страстно выражать свое отношение ко всему, что он изображает, пронизывают произведение с первых до последних строк. Он с родителями, провожающими сына в ополчение, он с невестой, потерявшей возлюбленного, он неотделим от волнений, горестей, тревог, надежд, упоений, он пережил все вместе со всеми. Именно эта тенденция, последовательно выраженная и мастерски воплощенная, определяет особое место этого произведения в бескрайнем море мемуарной литературы об Отечественной войне 1812 года.

* * *

В последние годы жизни Квитка создает ряд очерков, в которых выявили себя такие его таланты и пристрастия, которые на протяжении предшествующих десятилетий в нем трудно было даже предполагать. Он проявляет себя как историк, причем по

преимуществу историк-краевед, как демограф и статистик, притом везде, где это оказывалось возможным, в этих произведениях дает себя знать и мемуарный элемент. Все они ощутимо подпитываются патриотическими чувствами, но это не громкий государственный патриотизм, а патриотизм, так сказать, домашний, наиболее значимой составной частью которого выступает любовь к родным местам и обитателям этих мест. Эти произведения принадлежат к числу наименее известных читателям, и нельзя не отдать должное Л. И. Мачулину, который в 2005 г. переиздал их в своем издательстве отдельным сборником с собственной вступительной статьей, притом немалым по нашим временам тиражом – 1000 экземпляров[210].

Наиболее значимое из этих произведений – «Основание Харькова», имеющее подзаголовок «Старинное предание». Появившись в первой части сборника «Молодик на 1843 год», оно сразу привлекло к себе заинтересованное внимание современников. Белинский писал: «Г-н Основьяненко, как известно, владеет необыкновенным талантом рассказывать разные старинные предания языком легким и понятным даже простолюдину. Выписываем начало его „старинного предания“», цитирует без каких-либо купюр три первые страницы и добавляет: «Обещаем бездну удовольствия тому, кто прочтет до конца „старинное предание“ г. Основьяненки»[211].

Откликнулся рецензией на «Молодик» и Н. А. Некрасов. «Первая статья „Основание Харькова“ принадлежит перу покойного Основьяненка, – писал он. – Это лучшая статья во всем альманахе. В ней довольно занимательно рассказано предание об основании этого города и начале фамилии Квитка, к которой принадлежал сам автор»[212]. В 1890 г. статья вошла в 4-й том «Сочинений» Г. Ф. Квитки, вышедших под редакцией А. А. Потебни, и позднее регулярно включалась в собрания его произведений.

Но наряду с этим, можно сказать, наиболее прославленным результатом творчества Квитки-историка были статьи и очерки, печатавшиеся лишь однажды и известности не получившие, но без них наше представление о нем, о своеобразии его человеческого и творческого облика было бы неполным. В 1838 г. в «Прибавлениях» к газете «Харьковские губернские ведомости» появилось «Краткое историческое сведение о Харьковской губернии. Основание слободских полков», перепечатанное спустя два года в «Современнике» под названием «О слободских полках».

В тех же «Прибавлениях» Квитка напечатал статью «О Харькове и уездных городах Харьковской губернии», отрывок из которой под названием «Город Харьков» появился в

«Современнике», а затем и в «Сочинениях» под редакцией Потебни. Также в «Современнике» и в издании Потебни был напечатан очерк «Украинцы». «Народные воспоминания, когда и для чего поставлены пушки в Харькове близ дома дворянского собрания» появились в «Литературной газете» в год смерти писателя и затем обходились вниманием составителей его собраний сочинений до 1981 г.

Зато на долю статьи «История театра в Харькове», на которую нам уже доводилось ссылаться, выпала необыкновенная популярность: она переиздавалась под разными названиями как никакая другая: сначала в «Прибавлениях» к «Харьковским губернским ведомостям», затем в «Литературной газете», в «Прибавлении» к «Московским губернским новостям», в журнале «Репертуар и Пантеон» и в собраниях сочинений.

Общее у всех этих статей то, что их содержание в большей или меньшей степени связано с Харьковом. Но при этом у каждой из них, если можно так выразиться, свое лицо. Особенностью статьи «О слободских полках» представляется отсутствие не только какого-либо художественного, писательского начала, но ее внеэмоциональная тональность. Сначала историческая справка о судьбах территории, на которой позднее будут располагаться полки, затем состав полков: три полковых города: Харьков, Сумы и Ахтырка с перечнем подчиненных им селений. Детально расписано управление и штат каждого полка, что входило в обязанности полковника, полкового обозного, полкового судьи, полкового хорунжего, полкового писаря. Подчеркнута «всегдашняя верность престолу» «слобожан», «счастливых под отеческим правлением России» и «милости царей к слободским полкам». Приведен текст манифеста Екатерины Великой, которая, «вступив на престол, при неусыпном попечении привести в стройный порядок все части государства, благоволила воззреть и на слободские полки». Не обойдено молчанием и то, что отряд, «истребованный» императрицей, «состоял в полной команде Харьковского полка полковника Г. С. Квитки».

В следующей статье «О Харькове и уездных городах Харьковской губернии» тональность несколько меняется, становится как бы теплее, появляются эмоционально окрашенные наблюдения и оценки. Вот пример. «В Харькове есть публичный театр, на коем представляемы бывают комедии, водевили, а иногда большие оперы и даже трагедии. В летнее время труппа уезжает из Харькова в другие города на бывающие там ярмарки.

Город Харьков изобилует в окрестности прелестными местоположениями, посещаемыми жителями весною и в летнее время. В ближайшем расстоянии от города находится село Основа

помещика, тайного советника Андрея Федоровича Квитки, где сосновая роща, приятная для прогулок, привлекает многих из городских обитателей всех сословий, а наиболее сад, в коем большое заведение экзотических растений, частью усвоенных здешнему климату».

Вместе с тем статья насыщена статистическими данными, сведенными в таблицы, в которых подсчитано, сколько в данном уезде пахотной земли, сенокосов, питейных домов, купечества, мещан, однодворцев, казенных крестьян, рабочих, цыган, строевого и дровяного леса, слобод, сел, деревень, хуторов, заказных рощ, почтовых лошадей, отставных нижних воинских чинов, разночинцев, отписных от монастырей и т. д., и т. п. Сообщено, где отличные рыбные ловли, где промышляют сушеною грушею, где развито шелководство, где винокурение, описаны гербы уездных городов, а также масса других многообразных сведений.

Самая маленькая из исторических статей Квитки – «Украинцы». Наиболее интересное в ней – это попытка, пусть даже непоследовательная, недостаточно обоснованная и малоубедительная, провести границу между понятиями «украинцы» и «малороссияне». Начинает он с того, что «народы, населившие нынешнюю Харьковскую губернию, большей частью были украинцы и имели с малороссиянами один язык и одни обычаи, но со времени своего здесь поселения значительно отклонились от них до заметной разности по нескольким причинам. Быв подчинены одному со внутренними местами России правительству, одним и тем же законам, они более слилися с общею массою русского народа, нежели малороссияне, которые долго имели своего гетмана и до сих дней особливое судное право».

Переселение сюда большого количества великороссиян привело к смешению здесь разных наций и породило особый характер народа, который Квитка называет слобожанским и для характеристики которого не жалеет добрых слов: «Слобожанин опрятен, гостеприимен, чистосердечно вежлив. Провести, обмануть в чем-либо он не сроднен и почитает это за грех. <…> Без власти и начальства не может пробыть, ждет распоряжений и исполняет их без уклончивости, из корысти не унижается, стремится к познаниям, <…> прежде всякого рукомесла старается обучить сыновей грамоте. <…> От сих-то причин и самый язык здесь гораздо очищеннее малороссийского. <…> Украинец любит музыку и имеет к ней способность… <…> Есть также имеющие способности к художествам. Из них самоучки-живописцы писали иконы в известных церквях, в иконостасах и т.

п.».

Особо подчеркнута распространенность верноподданнических чувств: «…Ни один из жителей сей губернии ни в армии, ни вне губернии или отечества, нигде и ни в каком случае не забыл обязанности своей к престолу и не навлек пятна здешней губернии, всегда верной, преданной власти». Примерно половину статьи занимает подробное описание одежды, которую предпочитают носить слобожане, как мужчины, так и женщины. Лишь в самом конце статьи мы видим фразу, в которой слышится некоторая горечь: «Не только между молодыми мужчинами, которые, чтобы показать себя „удалыми“, стараются говорить русским наречием, нельзя уже услышать национальных песен, но и девки совершенно оставили их и уже мало знают обрядных, свадебных, купальных, колядных и проч.».

Последней по времени создания стала статья «Народные воспоминания, когда и для чего поставлены пушки в Харькове близ дома дворянского собрания». Она была напечатана в «Литературной газете» через месяц после смерти автора с подзаголовком «Последняя статья Г. Ф. Квитки (Основьяненки)». Начало ее едва ли не текстуально перекликается с восхитившим Белинского началом «Основания Харькова»: «Славный дом дворянского собрания в Харькове! Какая в нем огромная, пышная зала! Когда наше дворянство, исполненное чувством беспредельной любви к отечеству, собирается в этот зал, чтоб избрать из среды своей судей и руководителей к общему благу, все это единодушное, согласное семейство вмещается в этой зале. Нет особых комнат, отдельных закоулков, не нужны убежища для тайных совещаний, планов, предположений. Все идет на чистоту; слово скажешь – все слышат, все знают… Так вот огромна наша зала».

«Дом дворянского собрания» не сохранился, он был расположен на нынешней площади Конституции, рядом со зданием Исторического музея, в котором и находятся описанные Квиткой пушки. В свое время они вызывали недоуменные вопросы жителей города, именовавшихся не харьковчанами, как теперь, а «харьковцами»: «„Для чего эти пушки у дома дворянского собрания?“, „Откуда они взялись?“ „Неужели предполагают когда-нибудь стрелять из них?“, „Зачем им тут стоять?“, „Зачем было привозить их из отдаленных от нас крепостей или литейного завода?“ Часто слышу я такие суждения и вопросы, слушаю и ответы: „А кто их знает!“, „Откуда ни взяты, да взяты, поставлены, так и дело с концом. Наше дело смотреть на них да и только“.

Так и мне пришлось слышать вопросы и ко мне обращаемые о

пушках, когда и для чего поставлены. Расскажу».

Рассказывает он о том, как казачьи полки, составленные из местных поселенцев, отбивались от крымских и ногайских татар и тогда пушки пошли на защиту крепостей в Слободско-Украинской области и исполняли свое назначение исправно. Когда же слободские казаки обратились в мирных жителей, развалившиеся крепости были уничтожены, а бывшие в них пушки свезены в Харьков. «Годные к употреблению пушки поставлены были на городском валу, где ныне университетский бульвар».

Стреляли, отмечая торжественные события, в каждый торжественный день на молебне, во время обедов, даваемых губернаторами, в военное время при известии о победе. По пушечной пальбе узнавали, что прибыл или отбыл из Харькова генерал и какого ранга – от этого зависело число залпов. «За обедом у генерал-губернатора при питии за высочайшее здравие их императорских величеств – 101, их императорских высочеств, наследника с супругою – 51, всех членов августейшей фамилии – по 31 выстрелу».

Как всегда, Квитка осведомлен обо всех деталях происходившего и точен в сообщаемой им информации. В заключение своего очерка он сообщает, что «губернатору предписано было все пушки, какие есть в Харькове, годные и негодные к употреблению, прислать в назначенный завод, а порох также сдать артиллерийскому начальству. Вот и прекратилась у нас стрельба!

Поспешили исполнить повеленное. Зимою собрали и те пушки, что валялись за городом на сказанном месте, и отправили все годные и негодные по принадлежности; но, собирая их, просмотрели две, вбившиеся в землю; они так и оставались. Долго бы там лежали они, да бывший у нас в Харькове военный губернатор города Харькова и гражданский всей губернии князь Петр Иванович Трубецкой, узнав о тех пушках, представил о том, куда следовало, и получил высочайшее повеление: „Согласно представлению его, отдать те пушки Харьковскому дворянскому собранию с тем, чтобы оные были поставлены при выезде из дому в виде тумб“.

Вот они и поставлены на устроенных местах по данному для того рисунку».

Из таких вот разнородных набросков и вырастало наиболее значительное произведение Квитки, посвященное его родному городу, уже упоминавшаяся статья «Основание Харькова». В его основу легли семейные легенды, имевшие мало общего с действительностью, а порой и противоречащие историческим документам. Видимо, Квитка сам осознавал недостаточную

научную достоверность своего произведения и потому снабдил его подзаголовком «Старинное предание». Тем не менее Д. И. Багалей и Д. П. Миллер, создатели наиболее основательного труда на ту же тему – двухтомной «Истории Харькова за 250 лет его существования» (1905–1912), были знакомы со статьей Квитки и уважительно отзывались о ней.

Начинается «предание» с того, как подбирали имя найденному мальчику. Сам он говорит, что звали его Андрюшею, а бумаги, по которым можно было установить его фамилию, потеряны, и хотели назвать «Афанасиевым». «Как думаете? – спросил пан у своей жены.

– Зачем такое прозвание давать? – сказала тут же бывшая на совете дочь их, принимавшая большое участие в маленьком Андрее. – То имя отца его, а хлопчик такий гарный, дуже красивый, я уже прозвала его Квиткою. Именно, як квитка». Понятно, намекала она на то, что ребенок красив, как цветок.

Маленький Андрей «за ловкость и понятливость» едва не попал в псари к польскому воеводе, но, повествует автор, «промысел, пекущийся о всех и еще более о сиротах, ведет их к счастию не испытанными для нас судьбами».

Позднее Андрей Квитка селится на *Основе*, и чтобы закрепить это дорогое для него название в памяти читателя, автор неоднократно выделяет его курсивом. «Вся Украина поднималась искать *слободы*, перейти на слободные места, где уже есть *Основа* новому поселению. Все шли к *Основе*, разумея то место, где прежде поселился Андрей Квитка…» Уже появляются знакомые названия: «известный „Гузун-Курган“ (у коего ныне город Изюм Харьковской губернии)», «названное по протекающей реке поселение „Сумы“ уже имело вид порядочного города как по укреплению, так и по населению. Ахтырка, из прежнего татарского укрепления, опустевшая и считавшаяся в польском владении, возобновлена укреплением и по многолюдству начала почитаться городом с 1645 года».

«Наш же молодец, об основании которого здесь говорится, теперешний папахен или, как тогда называли, „батько“ всех городов, еще в то время и не родился. Известна была только река Харьков, вытекающая из России, т. е. из Белгородской провинции, протекающая близ Основы – поселения, места, где поселился первоначально Квитка, и тут же, соединяясь с рекою Лопанью, проходила далее сосновым бором и впала в реку Уды, втекающую в реку Донец».

Население скоро умножилось, продолжает автор свой рассказ, стали думать об укреплении места, «устроении города». Приступили к сооружению храма Божия, и 14 августа 1646 года в

диком, безлюдном, необитаемом до того месте раздался первый звон колокола. «Город в молитвословии наименован был „Харьковом“. До сего было совещание, как наименовать город. И общее мнение основалось назвать его по реке, мимо его протекающей. „Река течет из России, – говорил Квитка, а с ним согласились и все. – Пусть и по имени известно будет, что мы коренные русские, подданные православного и преславного царя московского“».

И заканчивает Квитка свое «предание» так: «Вот вам весь тогдашний Харьков, что если бы встал кто из бывших при заложении его? Узнал ли бы место, где были домики первоклассных тогда жителей?.. То-то же. И вот исполняется только двести лет от первоначального его основания… Пожалуйста, любезные земляки, 15 августа 1846 года погуляем знатно в память двухсотлетия нашего Харькова-молодца. <…> А Харьков все цвел и процветал и стал тем молодцом, каким вы его видите».

Этими словами Квитка как бы отсылает нас к тому гимну Харькову, которым начинается его статья. Это действительно выдающаяся по своей эмоциональности восторженная речь, которая побуждает вспомнить вступление к «Медному всаднику», проникнутое любовью, которую вызывало в Пушкине «Петра творенье». Белинский, напомним еще раз, воспринял его с таким восхищением, что начал свою рецензию с того, что привел его полный текст. Если так его воспринял человек, который в Харькове никогда не жил, то что же говорить о нас? Остается лишь последовать примеру великого критика, и пусть гимн, сложенный Квиткой в честь нашего города, завершит эту книгу.

«Да, город Харьков отличен от многих губернских городов. Взгляните на него хоть слегка, хоть со всею внимательностию; прелесть! улицы ровные, чистые, прямые, публичные здания великолепны, частные дома красивы, милы, магазины наполнены всякого рода товарами, вещами в изобилии и беспрестанно сменяющимися новейшими, изящнейшими; не успеет что явиться в Петербурге, уже привезено в Харьков и продано. Училища, театр, гостиный двор, различные художественные заведения… чего в нем нет!

Сколько потребно времени пройти город вдоль, устанешь, просто устанешь, а кругом обойти его, и не говорите, чтобы можно было за один день; это же еще без предместий. И что в нем завидно, так это то, что в нынешнем году город был, кажется, кончен совсем; крайний двор известен; на следующий год, глядишь, уже от того двора вытянулось в поле несколько улиц, выстроены домики, и – границы города изменились. Да чего?

самая Основа (не забудьте, пожалуйста, об этом; нам нужно будет вспомнить), Основа уже почти соединена с городом, город вливается в нее. В сем году ходишь по городу, идешь из улицы в улицу, видишь домики, дома деревянные, не только не ветхие, но еще и не старые; зайдешь туда на другой год… батюшки светы! Где я?.. Все это застроено новыми, каменными, уже не домами, а палатами обширными, в два, три, четыре этажа, и все красиво, мило, и все везде наполнено народом, везде жизнь, движение, суета… нет, именно нет во всем городе пустого, не занятого уголка. На будущее лето вырастет из земли пятьдесят домищев в несколько этажей, каждый растянется на десятках саженей, верх еще кладут, до крыши далеко, а внизу жильцы движутся, промышляют… Стало быть, нужно строиться, есть из чего строить. Стало быть, народ прибавляется, не покидают Харьков, а стекаются в него из разных мест. Стало быть, в нем жить привольно, покойно, удобно: мастеровому, если только не сидит без работы; промышленнику, который удачно ведет свои обороты; купцу, сбывающему выгодно свой товар; где им защита и покровительство от начальства, так они туда роем летят. Классу людей, понимающих, к чему ведут науки, уж какое удобство обучать детей! из каких мест ни наезжают в Харьков! Расположились прожить, пока дети окончат учение; глядишь, купили дом, остались жить у нас навсегда: покойно, уютно, неубыточно, весело… что еще нужно для безмятежной жизни?..

Посмотрите вы на этого молодца, на этого франта между городами, посмотрите на Харьков в праздничный, торжественный день, – чудо! Стук экипажей по мостовым в разных улицах, все спешат к одному пункту… экипажи что ни наилучшие; модно, блестяще, красиво; кони завидные, упряжь одна другой наряднее, светится, сияет, как жар; кучера в ямских, лихо отделанных, хватски изукрашенных кафтанах; ловкие, лихие лакеи в блестящих ливреях с аксельбантами… стоишь в сторонке, любуешься, глядя на все это: нечего похулить! Войдите в собор: пройдите через ряды купечества! Где случается им беседовать между собою о своих делах, там миллионы у них зауряд, а о сотнях тысяч редко и говорить приходится. Идите далее: вот вы в кругу чиновников; все в мундирах, блестяще, пышно, важно, золото, серебро, блеск; взгляните налево: дамы, девицы, всюду скромность, красота, прелесть убранства, наряды, все прилично, все со вкусом; перлы, бриллианты тут последнее дело… смóтрите и не насмотритесь; любуетесь не налюбуетесь!

Все эти добрые христиане проводят день всякий по своему состоянию, дружно, согласно, а потому и приятно. В одном доме двадцать, в другом тридцать, пятьдесят обедают. Везде роскошь,

изобилие! Лучшие яства, вина, сочные, свежие плоды, серебро, хрусталь, вазы с цветами… Говор, шутки, смех, свобода приправляют обеды. Разговоры без пересудов, хотя из обедающих больше половины дам; без сплетней, рассуждения здравые, прямые, судят, рядят о музыке, литературе, произведениях искусств; прислушаешься… суждения точнее, je vous assure[213], дельнее, чем в ином журнале.

Пришел вечер. Не сговаривались, не уславливались, а все опять вместе, в театре или в благородном собрании. В театре есть на что посмотреть, есть чем заняться и потом послушать хоть и не печатных, а дельных суждений. Входите в благородное собрание… зала превосходная, огромная!.. Цари хвалили ее!.. Свет, блеск, многолюдство. Чинно, пристойно, весело; в толпе вас никто не теснит, кажется, заботится о вашем спокойствии. Поговорите с кем и о чем угодно; находите знание, образованность, сведения… Взгляните на прекрасный пол, сидящий на возвышении в ожидании бала. А? Что скажете? Цветник, сударь, да еще какой! Отличных, прелестных, цветочек к цветочку подобранных, благоуханных, ароматных… ну, не приберу слов; голова отупела, гляжу, любуюсь и… Наряды, убранство, ловкость во всем; все у места, грациозно, лучше нельзя придумать. Поговоривши с молодыми людьми, вас окружавшими, вы приятно провели время, насладились дельным разговором. Подойдя к цветнику, любуетесь; вот студенты, чиновники… О чем вам угодно будет поговорить, о литературе русской, французской, о музыке немецкой, итальянской, о композиторах… суд здравый, толковый, французский язык правильный, выговор чистый… Столица, право слово, столица!..

Музыка гремит, кадрили, вальсы, мазурки, все идет своим порядком. Везде грация, ловкость, пристойность, в парных разговорах острота, любезность, немножко кокетства, столь прелестного в прелестных, необходимого в милых… глядишь… и узелок завязался…

Вообще видите стройность, образованность, пышность без чванства, хлебосольство, радушие, вкус, здравое суждение, умение жить…

Смешон мне наш Харьков!.. Как он упитался, как он распространился, как он разукрасился! Привлек к себе иногородних торговых гостей, ворочающих миллионами, вкоренил учение высшим наукам, сам принарядился, расфрантился, шаркает по-европейски, отплясывает французские кадрили, погуливает на многолюдных ярмарках, припасает самое лучшее из наилучшего, любезничает с дамами, не наговорится о премудрости, чванится далекою о себе славою, гордится перед

своими братьями, не дает никому ступить себе на ногу, поглядывает только, как и старшие его братья шапки пред ним снимают, а сам, заломя голову, руки по-столичному заложа в карманы, думает, что он и в самом деле *фря* какой!.. Эх, голубчик ты мой! Ну что, как я расскажу про твое рождение, как ты рос и мужал? Каков ты был вначале и каков теперь – сравнить, так просто умора! Был так себе, ничего, даже и в простые городишки не норовился, а глядишь, как счастие послужило?»

Несколько слов об авторе

Автор лежащей перед вами книги, выдающийся литературовед, труды которого завоевали признание и авторитет далеко за пределами нашей страны, доктор филологических наук, профессор Леонид Генрихович Фризман родился 24 сентября 1935 г. в Харькове, где прожил всю жизнь, накрепко связав с нашим городом свою творческую судьбу.

В 1957 г. закончил русское отделение филологического факультета Харьковского педагогического института им. Г. С. Сковороды. Второе высшее образование получил в Харьковском университете, на отделении романо-германской филологии факультета иностранных языков. Трудовой путь начал учителем школы рабочей молодежи, находившейся на территории завода «Свет Шахтера», и проработал в ней более десяти лет. Преподавал русский язык и литературу, немецкий язык, а когда придумали новый предмет – «Обществоведение», по которому вначале не было ни программ, ни учебников, взялся и за него.

В 1965 г., еще оставаясь учителем, начал работать почасово в педагогическом институте. Преподавал немецкий язык: на кафедру литературы его не взяли даже после того, как в 1967-м он защитил кандидатскую диссертацию. Лишь в 1975 г., когда он представил к защите докторскую, ему скрипя зубами предоставили возможность – если называть вещи своими именами – работы по специальности. Не удостоенный ни аспирантуры, ни докторантуры, он в 1977 г. получил степень доктора наук и не где-нибудь, а в одном из самых авторитетных вузов страны – в Московском университете. Его бывший студент, ныне ставший американским профессором, Вадим Назаренко писал: «Сегодня, спустя десятилетия, очевидно, что получение ученой степени доктора филологических наук в семидесятые годы прошлого века, как тогда говорили, „лицом еврейской национальности“ было своего рода подвигом».

Он заслуженно считается несравненным воспитателем и пестуном научных кадров, сумевшим подготовить более шестидесяти (!) докторов и кандидатов наук. Не знаем, как обстоит дело в точных науках, но в среде гуманитариев такого показателя не имеет ни один научный руководитель в стране. Но главным для него всегда было и остается его собственное научное творчество. Не будь он сам творцом такого уровня, ему нечего было бы передавать другим.

Это в нем всегда видели и ценили ученые, которые были намного старше его и занимали несравненно более высокие посты в головных академических институтах. Ограничимся лишь одним примером. Крупнейший пушкинист XX века, многолетний руководитель Пушкинской группы Института русской литературы

АН СССР, бывший старше его более чем на двадцать лет, Б. С. Мейлах писал ему: «Без преувеличений – работаете Вы на уровне высококвалифицированного доктора наук… Вашу работу просто можно назвать образцовой. При этом Вы достигли такого уровня и, что самое интересное, по-моему, достигли этого, шутка сказать, самосовершенствованием, без непосредственной учебы у тех, поистине крупных ученых, под руководством и в среде которых я учился, будучи студентом в МГУ и в аспирантуре Академии наук. Поэтому редко приходится поздравлять со степенью таких молодых (и в наше время появившихся) ученых, как Вы. Желаю Вам многих успехов с той же ответственностью к выпускаемым Вами трудам, как до сих пор».

Со времени, когда было написано это письмо, минуло почти сорок лет. Давно нет в живых его автора. Но его завет воплощен в жизнь так, как это трудно было предвидеть. Сегодня в «послужном списке» Л. Г. Фризмана 45 книг и около 560 статей и других публикаций. Главное место в них занимает русская литература. Но, живя в Украине и будучи к тому же человеком с активной жизненной позицией, остро реагирующим на происходящее, он не мог оставить без внимания ни проблемы Украины, ни состояние украинской литературы. Особенно велик его вклад в изучение двух украинских литераторов.

Первый из них – выдающийся деятель украинской культуры Михаил Александрович Максимович. Вместе с взращенной им ученицей С. Н. Лахно Л. Г. Фризман напечатал о нем около двух десятков статей, осуществил переиздание альманаха Максимовича «Денница», бывшего заметным явлением литературной жизни пушкинской эпохи. Итогом кропотливых библиографических и архивных разысканий стала фундаментальная монография «М. А. Максимович-литератор». Помимо ее основного текста, читатель нашел в ней обширные «Приложения», куда вошли малодоступные, порой начисто забытые литературно-критические и художественные произведения.

Второй – Борис Алексеевич Чичибабин. Л. Г. Фризман написал первую книгу о великом поэте да и по количеству статей о нем превосходил любого другого автора. Тем не менее, когда возникла идея издания предсмертного сборника «Борис Чичибабин в стихах и прозе» в академической серии «Литературные памятники», участие в этой работе Л. Г. Фризмана первоначально не планировалось и в заявке, направленной в редколлегию, его имя не упоминалось. Это было трудно объяснимо, потому что в ряду возможных участников издания он был единственным человеком, имевшим опыт подготовки

«памятников»: сотрудничал в серии с начала 1970-х годов и выпустил в ней четыре книги.

Лишь когда прошло несколько лет и выяснилось, что участия Фризмана избежать невозможно и без него издание не осуществится никогда, вдова поэта Л. С. Карась-Чичибабина обратилась к нему с просьбой спасти книгу. Он не заставил себя уговаривать, в самые сжатые сроки написал сопроводительную статью; мобилизовав свой богатый опыт, усовершенствовал до требуемого уровня комментарий и таким образом обеспечил быстрый выпуск книги в свет.

Редакция, в глазах которой он пользовался неоспоримым авторитетом, тут же предложила ему не ограничиваться сделанным, а подготовить следующий памятник. Вот тут он и принял, можно сказать, судьбоносное решение – предложил издать в серии «Литературные памятники» внушительный том прозы Квитки-Основьяненко. Он стремился этим внести свой вклад и в укрепление престижа украинской литературы. К тому времени в серии вышло уже около тысячи книг, русская, английская, французская литературы были представлены десятками изданий, а украинские писатели удостоились этой чести лишь дважды: в 1983 г. были выпушены повести Стефаника, а через 30 лет – Чичибабин.

Его идея получила поддержку, «памятник» в момент написания этой статьи находится в работе. При подготовке данного издания автору выпала большая удача. Дело в том, что Квитка выпустил при жизни две книжки «Малороссийских повестей», которыми первоначально и предполагалось ограничиться. А Фризману удалось установить, что писатель подготовил к печати и третью книжку, которая сохранилась в его архиве и была включена в корпус «памятника», и его объем благодаря этому увеличился до 55 печатных листов.

Но цель, которую ставил перед собой подготовитель, – воскресить внимание к наследию замечательного украинского писателя – достигалась этим лишь частично. Сопроводительная статья, даже насчитывавшая более чем 100 страниц, целостную характеристику Квитки в себя вместить не могла. И он написал монографию, которую вы сейчас держите в руках. Ее особенность не только в том, что она содержит целостный анализ прозаического наследия Квитки, но и в том, что в ней выдвинут на первый план малоизвестный материал, который дает возможность увидеть Квитку как достояние, гордость и певца Харькова.

Разумеется, и в возникновении, и в реализации этого замысла не последнюю роль сыграл харьковский патриотизм автора. Ведь

он жил и вырос недалеко от кладбища, на котором похоронен наш великий земляк, и необычный, но величественный камень, установленный на его могиле, врезался в детскую память будущего литературоведа раньше, чем он прочел первую из повестей Квитки.

На протяжении более чем полувекового творческого пути Л. Г. Фризман был и остается поныне гражданином и демократом в самом подлинном смысле этих слов. С юности для него было характерно острое восприятие и переживание проблем общественной жизни, неуемные поиски истины и справедливости, нетерпимость ко лжи, лицемерию и ханжеству властей. Он распечатывал, распространял и пропагандировал непубликуемые и находившиеся под запретом стихи Ахматовой, Бродского, Слуцкого, Чичибабина, Галича, Высоцкого, Губермана, Алешковского, чем не раз привлекал к себе внимание органов государственной безопасности. Из его статей выуживали скрытую антисоветчину, именовавшуюся в те времена «неконтролируемым подтекстом». Одна из этих статей была запрещена по указанию высшей идеологической инстанции – Агитпропа ЦК КПСС, после чего его фамилия приобрела такую дурную славу, что ему долго пришлось печататься только под псевдонимом.

После крушения советской власти многие цензурные путы исчезли, а идеологический надзор заметно ослабел. Но болезненные социальные коллизии продолжали существовать, острый разлад между деспотическими нравами властей и демократическими устремлениями прогрессивных слоев общества никуда не делся. Разбирая сборник публицистических этюдов Фризмана «Эти семь лет», его коллега и литературный спутник В. Юхт отмечал, что его автор «сражался на два фронта. С одной стороны, коммунизм всех оттенков: от розового до красно-коричневого. С другой же – пещерный национализм. В новом тысячелетии коммунистический реванш едва ли способен стать реальной угрозой. Зато ксенофобия разрастается, как бурьян на заброшенном поле».

Статей на актуальные политические темы Фризман написал многие десятки. Печатавшиеся в таких изданиях, как «2000», «Время», «Событие», «Грани», «Дикое поле» и других, они, однако, не остались достоянием лишь украинского читателя. Их многократно и регулярно публиковали за рубежом, особенно в Канаде – в газетах, выходящих в Ванкувере и Торонто. Большой резонанс в Украине и за рубежом вызвала книга Леонида Фризмана «Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе», вышедшая в 2015 году в издательстве «Фолио» и содержащая анализ сотен больших и маленьких произведений, напечатанных

на протяжении более полутора столетий – от Отечественной войны 1812 года до крушения советской власти.

Голос Фризмана-публициста нельзя не ощутить, читая и эту его книгу. Нет, в основе своей она, конечно, научная. Присущий автору академизм высшей пробы никуда не делся. Но в том, как он доносит до нас результаты своего научного поиска, постоянно ощущается эмоциональность и страстность, составляющие неотъемлемую часть его творческого облика.

Книга перед вами, и каждый составит о ней свое мнение. Но одна лишь перспектива ее выхода вызвала живейший интерес. Ведь в нашем городе, в нашем педагогическом университете, в котором почти полвека проработал ее автор, существует единственный в мире факультет украинского языка и литературы, носящий имя Квитки-Основьяненко. Появление новой книги Л. Г. Фризмана – именно такой, как она написана, – станет заметным событием в жизни Харькова и будет содействовать укреплению репутации нашего города как культурного центра Украины.

Константин Бондарь,
кандидат филологических наук
(Хайфа, Израиль)

notes

Примечания

1

Русский архив. – 1890. – Кн. 3. – С. 210.

2

Цит по: *Данилевский Г. П.* Украинская старина: материалы для истории украинской литературы и народного образования. – Харьков, 1866. – С. 232.

3

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори у восьми томах. – Т. 8. – К: Дніпро, 1970. – С. 140.

4

Мещеряков В. П. Лукавый летописец поместного быта // Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – М.: Сов. Россия, 1990. – С. 4.

5

Цит. по: *Данилевский Г. П.* Украинская старина. – С. 188. Нельзя не вспомнить, что Щепкин подтвердил безошибочность этого отзыва в числе прочего и блистательным исполнением главной роли в лучшей из комедий самого Квитки «Шельменко-денщик». Он избрал ее для своего бенефиса в Большом театре 30 февраля 1842 г. и тем в немалой степени содействовал ее признанию и будущей популярности. Рецензент этого спектакли откликнулся на него так: «Я видел г. Щепкина в роли Шельменко-денщика и скажу, что выше этой игры вообразить ничего нельзя. Актера не было; это был живой, из полка, денщик, малороссиянин и прежний писарь. Какое удивительное и вместе натуральное разнообразие (которого в других ролях недостает иногда г. Щепкину); как он говорил с помещиком, офицером, со служкою, один! Что за поразительные своей верностию движения. Вы видите Шельменка не в эту только минуту, но вся жизнь его перед вами: вы знаете, сколько получил он палок за свою выправку, а этот дьявольский ум, которому не достает только поприща пошире – бесподобно! Бесподобно! Слава артисту!» (NN. Два слова о бенефисе г. Щепкина // Москвитянин. – 1842. – № 3 – С. 285).

Там же. – С. 191.

Там же. – С. 186.

Там же. – С. 193.

9

Цит. по: *Данилевский Г. П.* Украинская старина. – С. 193–194.

10

Там же. – С. 221.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 112.

12

Там же. – С. 113.

13

Там же. – Т. 7. – С. 67.

Там же. – С. 75.

15

Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки и Е. П. Гребенки в контексте русско-украинских литературных связей. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 24. Хотя творчество Квитки рассматривается лишь в первой половине этой монографии, она была и остается по сей день единственным исследованием, посвященным его прозе. К собранным в ней материалам и ценным наблюдениям предстоит возвращаться неоднократно. О «Письмах к издателям» см. также: *Чалий Д.* Г. Ф. Квітка-Основ'яненко (творчість). – К.: Держлітвидав України, 1962. – С. 16–32.

16

Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: в 9 т. – Т. 5. – М.; Л.: Гослитиздат, 1962. – С. 345.

Киевлянин. – 1878. – № 144. – С. 2.

18

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів: у 7 т. – Т. 2. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 301.

19

Там же. – С. 303.

Там же. – С. 312.

21

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 305.

22

Там же.

23

Там же. – С. 306.

24

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 307, 308. С. Д. Зубков пишет в этой связи: «Обращает на себя внимание такая подробность. Биограф писателя упоминает, что танцевальный клуб в Харькове, директором которого одно время был Квитка, содержал „бывший фехтовальный учитель при университете, Ле-дюк, один из наполеоновских гвардейцев 1812 года“. Фалалеевский француз именуется „мосье ле Конт“ или „мусье Леконт“. Вряд ли имя этого персонажа случайно перекликается с фамилией реального лица, широко известного в Харькове. Сейчас, конечно, трудно установить, во всем ли содержатель клуба послужил прототипом ле Конта, особенно если учесть слишком уж непривлекательные черты и отвратительную его характеристику. Но, с другой стороны, сомнительно, чтобы писатель без достаточных оснований прибегал к столь прозрачной схожести их фамилий. Не случайно, видимо, „письма“ Повинухина вызывали в „Харькове фурор“, поскольку читатели, несомненно, свободно отгадывали авторские намеки, одним из которых, возможно, была и фамилия француза. Для нас в данном случае важна жизненная основа изображаемых Квиткой нравов, ситуаций и даже отдельных лиц» (*Зубков С. Д.* Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 26–27).

25

Там же. – С. 310.

Там же. – С. 310, 311.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 313.

Там же. – С. 315.

29

Там же. – С. 319.

30

Там же. – С. 303.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 308.

32

Там же.

33

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 323–325.

Там же. – С. 325.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 325.

Там же. – С. 326.

Там же. – С. 326–327.

Там же. – С. 327.

Т*Квітка-Основ'яненко Г. Ф.* Зібрання творів… – Т. 2. – С. 328.

Там же. – С. 329.

Новиков Н. И. Избранные сочинения. – М.; Л.: Гослитиздат, 1951. – С. 122–124.

Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 29–30.

Милюкова Е. В. Квитка // Русские писатели. XIX век: биобиблиогр. словарь. – Т. 1. – М.: Просвещение, 1996. – С. 335.

Литературно-критические работы декабристов. – М.: Худож. лит., 1978. – С. 51.

45

Русские повести XIX века 20-х – 30-х годов. – Т. 1. – М.; Л.: Гослитиздат, 1950. – С. 5.

Литературно-критические работы декабристов. – С. 85.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – 1979. – С. 559.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 120.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 124.

Там же. – С. 134.

51

Там же. – С. 152.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 330.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 2. – С. 331.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 132.

Там же. – С. 138.

Там же. – С. 139.

Там же.

Там же. – С. 142, 143.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. – Т. 3. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 54, 55.

Мастак И. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком. Книга первая // Ученые записки Московского университета. – 1834. – Ч. VI. – № 5 (ноябрь). – С. 299, 302.

61

Шевченко Т. Г. Письмо от 19 февраля 1841 г. // Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 5. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 256.

Гребінка Є. Твори: в 5 т. – Т. 4. – К.: Держлітвидав України, 1957. – С. 304.

Сын отечества. – 1838. – Т. V. – С. 58.

Б. п. «Козырь-девка»: [рец.] // Современник. – 1838. – Т. XII. – С. 66.

Молодик на 1844 год. – Т. III. – Харьков, 1843. – С. 172–173.

Фризман Л. Г., Лахно С. Н. М. А. Максимович-литератор. – Харьков, 2003. – С. 482.

Фризман Л. Г., Лахно С. Н. М. А. Максимович-литератор. – С. 483.

Там же. – С. 485.

69

Мастак И. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком. Книга первая. – Ч. VI. – С. 307.

Там же. – С. 298–299.

71

Ученые записки императорского Московского университета. – 1834. – Ч. VI, кн. 5. – С. 293–294.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 2. – С. 355–356.

73

См. *Айзенштокъ І. Я.* Г. Ф. Квітка і П. О. Плетньов // За сто літ. – Кн. 5. – Харків; К., 1930.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 6. – С. 666.

Юган Н. Л. Художественная картина мира в творчестве В. И. Даля: особенности жанрового воплощения и диалог с литературой эпохи. – Луганск, 2013. – С. 51.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 141–142.

Там же. – С. 142.

Мастак И. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком. Книга первая. – С. 302–303.

79

Мастак И. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком. Книга первая. – С. 139.

Мастак И. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком. Книга первая. – С. 140–142.

81

Мастак И. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком. Книга первая. – С. 258–259.

Там же. – С. 138.

83

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. – Ф. 236 ед. хран. 63. (Архив Г. П. Данилевского). – Л. 1-об.—2.

Северная пчела, 1841. – № 111. – 23 мая.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 155.

Там же. – С. 112.

87

Александр Моисеевич Финкель (1899–1968) был разносторонне одаренным человеком. Профессиональный лингвист, доктор филологических наук, профессор, он был и поэтом, основным автором известного сборника литературных пародий «Парнас дыбом», несколько раз выходившего в 1920-х гг., но позднее попавшего под цензурный запрет и возвращенного читателю в значительно дополненном виде лишь в 1989 г. На протяжении всей жизни занимаясь теорией поэтического перевода, он и сам переводил стихи. Наиболее значимой частью этой его деятельности стал полный перевод всех сонетов Шекспира, в ту пору четвертый в истории русской шексипиристики. Не издававшийся при жизни А. М. Финкеля, он был впервые напечатан автором этих строк при поддержке А. А. Аникста в «Шекспировских чтениях. 1976», а позднее выходил отдельными изданиями.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 174.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Львів, 1910. – С. 89.

Друг. – 1876. – Ч. 20. – С. 318.

91

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 214.

Подробнее об этом см.: *Юган Н. Л.* Клад и кладоискательство в творчестве В. И. Даля и литературных произведениях 1830-х годов // Владимир Даль как исследователь и творческая личность: Двенадцатые Международные Далевские чтения: докл. и сообщ. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2008. – С. 264–276; *Лагода А. Я.* Далевская интерпретация сказки Г. Квитки-Основьяненко «От тобі і скарб» // Слобожанщина – Донбасс: науч. – метод. сб. – Луганск, 2004. – Вып. 4. – С. 63–67.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 157.

Там же. – С. 155.

Данилевский Г. П. Украинская старина… – С. 228–229.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 152–153.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – С. 89.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 197.

Гончар О. І. Григорій Квітка-Основ'яненко. Життя і творчість. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 193.

Гончар О. І. Григорій Квітка-Основ'яненко. Життя і творчість. – С. 192.

101

Цит по: *Срезневский В. И.* Квитка и И. И. Срезневский // Sertum Bibliologicum: сб. в честь А. И. Малеина. – П., 1922. – С. 211.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 200.

103

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 251.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 168.

105

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. – Т. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 276.

Квітка-Основ'яненко Гр. Твори. – Т. 8. – С. 143.

Там же. – С. 143, 145.

Там же. – С. 147.

109

Там же.

110

Русская старина. – Т. 102. – 1900. – Май. – С. 293.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 173.

Там же. – С. 173–174.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 195.

114

Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. – Т. 4. – М.: Гослитиздат, 1953. – С. 115.

115

Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. – С. 165.

116

Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине. – М.: Искусство, 1952. – С. 202.

117

Литературно-критические работы декабристов. – С. 194.

118

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. – Т. 13. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 52.

119

Герцен А. И. Сочинения и переписка: в 7 т. – Т. 7. – СПб., 1905. – С. 261.

120

Русская мысль. – 1889. – № 1. – С. 6.

121

Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем: [в 4 т.]. – Т. 1. – М., 1934. – С. 387.

Там же. – Т. 3. – М., 1935. – С. 151.

123

Печерин В. С. Замогильные записки. – М., 1932. – С. 17.

124

П. В. Анненков и его друзья: лит. воспоминания и переписка, 1835–1885. – Ч. 1. – СПб., 1892. – С. 51.

125

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 4. – С. 518.

Там же. – Т. 11. – С. 437.

127

Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. – Т. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 490.

128

Огарев Н. П. Избранные стихотворения и поэмы. – М., 1938. – С. 372.

129

Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем: [в 4 т.]. – Т. 1. – С. 184.

Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 6 т. – Т. 6. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 321.

131

Сочинения в прозе и стихах, 1822. – Ч. 1. – С. 162–163.

132

Плетнев П. А. Сочинения и переписка. – Т. 3. – СПб., 1885. – С. 304.

133

Шкляревский П. Стихотворения. – СПб., 1831. – С. 63.

134

Сочинения Основьяненка. Жизнь и похождения Столбикова. – Ч. 2 и 2. Пан Халявский. – СПб., 1841 // Русский вестник. – 1841. – Т. 3. – № 9. – С. 714.

135

Пан Халявский // Библиотека для чтения. – 1840. – Т. 44, кн. 1, отд. VI. – С. 8.

136

Там же. – С. 9.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 11. – С. 370.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 4. – С. 399.

139

Кривин Ф. Автор и его герой // Квитка-Основьяненко Г. Ф. Пан Халявский. – М.: Худож. лит., 1978. – С. 3—19.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 145–147.

141

Кривин Ф. Автор и его герой. – С. 14.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 143.

143

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 125.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 127–128.

Москвитянин. – 1849. – № 5. – С. 332.

146

Вопросительный знак поставлен публикатором, который, очевидно, не был уверен, что правильно прочел предшествующее слово в рукописи.

Москвитянин. – 1849. – № 5. – С. 333.

Полагаем поэтому, что утверждения С. Д. Зубкова о «писательском презрении и ненависти к Пустолобову» не имеют под собой основания. См. *Зубков С. Д.* Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 66.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 144.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 121.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 192.

Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 65.

153

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 130, 131.

Цит по: *Зубков С. Д.* Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 65.

Айзеншток І. Я. Історія написання Столбикова // Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 7. – С. 638.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 131.

157

Данилевский Г. П. Украинская старина. – С. 218.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 144.

159

Там же.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 134.

161

Цит. по: *Зубков С. Д.* Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 67.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 144.

163

Там же. – С. 145.

Там же. – С. 145–147.

165

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 219–220.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 5. – С. 435.

167

Современник. – 1841. – Т. XXI. – № 1. – С. 114–115.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 234–235.

169

Там же. – С. 237.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 237.

171

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори. – Т. 8. – С. 268.

Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 77.

Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки… – С. 91.

Северная пчела. – 1841. – № 185. – 21 авг.

175

Библиотека для чтения. – 1841. – Т. 47, отд. 6. – С. 6; Т. 48. – С. 43–46.

176

Русский вестник. – 1841. – Т. 3, кн. 9. – С. 712–715.

177

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 311–312.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 327.

179

Там же. – С. 330.

Там же. – С. 331.

181

Современник. – 1841. – Т. XXIII. – С. 20–21.

182

Литературная газета. – 1841. – № 118. – С. 472.

183

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 5. – С. 596.

Там же. – С. 597.

185

www.proza.ru/2009/03/06/814

Киевская старина. – 1893. – № 6. – С. 260.

187

См.: *Шевченко Т. Г.* Повне зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 626.

188

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. – Т. 1. – С. 119–121.

189

Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Зібрання творів… – Т. 7. – С. 319–321.

Там же. – С. 340.

191

Русский биографический словарь. – Т. «Гааг – Гербель». – М., 1914. – С. 235.

192

Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. – М.: В Унив. Типогр., 1834. – С. 131.

193

Котляревский И. Сочинения. – Л.: Сов. писатель, 1986. – С. 138.

194

Маркевич Н. Горкуша, украинский разбойник // Русское слово. – 1859. – Сент. – С. 138.

Нарежный В. Т. Избранное. – М.: Сов. Россия, 1983. – С. 347.

196

Сомов О. М. Были и небылицы. – М.: Сов. Россия, 1984. – С. 68.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – С. 245.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – С. 248.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – С. 256–257.

Там же. – С. 257.

201

Там же. – С. 316.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – С. 317.

203

Там же. – С. 318.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – С. 319.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. – С. 320.

Там же. – С. 326.

207

Журнал Министерства народного просвещения. – 1839. – Ч. XXIV. – С. 186.

Современник. – 1836. – Кн. 2. – С. 58.

209

Маяк. – 1840. – Ч. 7. – С. 131.

Квитка Григорий. Харьков и уездные города. – Харьков: Мачулин, 2005.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – Т. 7. – С. 87, 89.

212

Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. – Т. 9. – М.: Гослитиздат, 1950. – С. 112.

213

Я вас уверяю (*франц.*).